ЕВГЕНИЯ ДИМЕР

Молчаливая любовь

РАССКАЗЫ

1979



ОБ АВТОРЕ

Евгения Александровна Димер начала писать стихи еще в детстве. Окончив в 1949-ом году мюнстерский университет в Вестфалии, она вскоре переехала на постоянное жительство в Соединенные Штаты. Тут ее рассказы, очерки и стихи стали печататься в "Новом Русском Слове", "Современнике", "Родных Далях" и в других периодических изданиях зарубежной русской прессы.

Несколько лет тому назад были изданы две книги ее стихотворений. Настоящий сборник рассказов "Молчаливая любовь"- это ее третья книга.

ЕВГЕНИЯ ДИМЕР

Молчаливая любовь

РАССКАЗЫ

1979

Того же автора:

1) *"Дальние пристани"*. Стихи, 1967
"Distant Harbors". Poems, 1967

2) *"С девятого вала"*. Стихи, 1977
"The view from the Ninth Wave". Poems, 1977

SILENT LOVE

Short stories

1979

COMPOSED AND PUBLISHED BY VICTOR G. SKORNIAKOFF ARTWORK
221 GLEN COVE AVENUE ● SEA CLIFF, N.Y. 11579

ПРЕДИСЛОВИЕ

Евгения Димер зарекомендовала себя, как поэтесса и как автор запомнившихся рассказов и путевых очерков, которые были опубликованы в газете "Новое Русское Слово" и в других зарубежных периодических изданиях. Она – автор двух книжек стихотворений. Теперь отдельным изданием выходит в свет сборник ее рассказов "Молчаливая любовь".

У Евгении Димер удивительно богатая память, когда она обращается к событиям Второй мировой войны, и отличная – зрительная память, когда она с душевной теплотой и в то же время с незлобной иронией описывает современность...

Благодаря этому прошлое живо и отчетливо воскресает в новых временах.

Вот концовка рассказа "Приказ есть приказ":

"...за рощей в овраге раздались пулеметные очереди, которые, жестко прорезав тишину, пронеслись над густым камышом болота и, отдавшись протяжным эхом над Забытым островом, заглохли в черной непроходимой лесной чаще."

Так вот и "Приказ есть приказ" и другие рассказы Евгении Димер о Второй мировой войне можно уподобить пулеметной или автоматной очереди, эхо которой доносится до современности.

Страшный рассказ "Приказ есть приказ." Среди немецких солдат и офицеров есть добрые, отзывчивые люди. Таков и полковник Штольц, проникшийся искренней симпатией к украинскому мальчику. Но поворот судьбы превращает доброго полковника в деталь адской машины насилия и террора, которая безжалостно подавляет сострадание и человечность. И оберст Штольц, не рассуждая, а слепо повинуясь и выполняя приказ, участвует в карательной акции нацистов, когда вместе с десятками других был расстрелян и опекаемый им мальчик Сережа.

Есть реликвии и сувениры, из которых память делает как бы машину времени, живо воскрешая пережитое во Вторую мировую войну. В запомнившемся рассказе Евгении Димер "Высадка на Эльбе" реликвией оказывается крестик, который принадлежит американскому моряку, спасшемуся с атакованного

немцами корабля и затем попавшему в плен. Действие развертывается на фоне морского боя, который героиня рассказа наблюдает с берега. Нина полюбила Влодека, инженера на немецкой службе, робкой пробуждающейся любовью. Но Влодек оказался нацистом-энтузиастом, и жестокость он проявляет добровольно и, сам того не замечая, растаптывает этим девичью любовь.

Для творчества Евгении Димер характерно сочетание драматизма и лирической нежности. Автор сборника чутко оберегает настоящую любовь от травм, наносимых ей душевной черствостью, вероломством, моральной низостью и испорченностью.

Вчитайтесь в рассказы Евгении Димер и вы поверите, что любовь и сострадание к человеку, если не исцеляют, то облегчают горе, разлуку, душевную боль, чувство одиночества. Рассказы сборника "Молчаливая любовь", – это, прежде всего, рассказы о жертвах Второй мировой войны, о перемещенных лицах, начавших новую жизнь в Европе и в Соединенных Штатах. Но нужно отметить, что автору, живущему уже продолжительное время на новом континенте, не чужда и другая тематика, а именно: Евгения Димер значительную часть своих произведений посвящает американцам и их жизни.

Вначале все кажется обыденным, примелькавшимся, пока поворотом судьбы, как неожиданным резким нахлестом ветра обыденное не превращается в драматическое... Такова жизнь, в которой все течет размеренно и спокойно, пока не произойдут события, меняющие и ломающие человеческие судьбы. Лиризм настроений и переживаний в таких случаях оказывает утешительное воздействие на душевные травмы человека. Драматизм настроений и переживаний действующих лиц не мешает незлобивой иронии, которая присуща Евгении Димер. В большинстве случаев ее рассказы это рассказы о нас с вами, дорогой читатель, о людях, совершивших хождение по мукам Второй мировой войны, ютившихся в бараках для перемещенных лиц и выброшенных на берег чужой страны, со временем ставшей родной.

Евгения Димер – автор двух уже готовых к печати романов, один из которых повествует о жизни европейских беженцев в Америке. Многие из рассказов сборника тематически и эмоционально перекликаются с этим романом:

Приведем отрывок из рассказа "Трус", где действие происходит во Вьетнаме и где герой, – его зовут Виктором, – американский солдат русского происхождения:

"А что такое мой дом и где он?" – думает молодой солдат. При воспоминании о доме его воображение раздваивается: один дом, который он едва помнит из прошлого, находится где-то в России, а другой, реальный и осязаемый, в Соединенных Штатах, где его товарищи, с которыми он провел двенадцать лет за школьной самьей... С базы открывается вид на небольшую деревеньку. В ней всего восемь хижин, покрытых рисовой соломой. Деревянные хатенки от времени стали почти черными и глубоко ушли в землю. Жизнь этой деревни проходит перед солдатами как на ладони."

Евгения Димер часто путешествует, она выработала в себе наблюдательность, и это благоприятно отразилось на ее творчестве. Путешественница помогает прозаику, а прозаик – поэтессе. Таков сборник рассказов Евгении Димер.

Вячеслав Завалишин

ВЫСАДКА НА ЭЛЬБЕ

Посвящаю моему мужу

1.

После обильного и вкусного ужина гости уселись в просторной гостиной, устланной мягким зеленым ковром. Задымили папиросы и сигары. Хозяин дома инженер Боб Роджерс ходил среди своих довольных и сытых друзей и предлагал ликеры. Его жена Нина, освободившись от кухонных обязанностей, вытирала руки бумажным полотенцем. Это была женщина выше среднего роста, но при своем стройном сложении кажущаяся высокой, крашеная шатенка с модно причесанными густыми волосами и черными бровями. К ней в кухню заглянула ее подруга – блондинка Пегги Смит.

– Что слышно от Ирины? – спросила она.

– На следующей неделе приезжает на каникулы, – ответила Нина.

– А мою Карин я долго не увижу, – сказала Пегги. – Она поступила на какую-то временную работу и хочет посещать лекции во время летнего семестра. Ехать же домой на несколько дней из Калифорнии не было бы смысла.

Женщины познакомились два года назад в парикмахерской и подружились. Их вначале привлекло друг к другу их европейское происхождение, хотя они и были из разных стран: Пегги из Шотландии, а Нина из Украины; позже они нашли и общие интересы, среди которых оказались их дочери-студентки. Их мужья встречались гораздо реже на случайных обедах или "барбекью" в обществе других гостей. Если женщины по внешности представляли собой контрасты, то мужчины принадлежали к одному типу: оба серьезные, широкоплечие, начинающие лысеть и жиреть брюнеты.

Пока подруги говорили о своих дочерях, сейчас находящихся в отдаленных университетах, в гостиной завязался разговор, в котором выделялся голос Билла Смита, мужа Пегги, страстного филателиста.

– Ни одно значительное событие в стране не пройдет незамеченным филателией. По почтовым маркам можно читать целую эпоху, – говорил он горячо.

– Это же можно делать и по монетам, – парировал его противник, худенький и подвижный Карлстедт, новый шеф Роджерса по службе, увлекающийся нумизматикой. – На отчеканенных монетах в хронологическом порядке запечатлены правители каждой страны. Вот простой пример: после убийства президента Кеннеди не пришлось долго ожидать с чеканкой серебряного полудоллара с его изображением...

– То же и в филателии, – перебил его не совсем вежливо Билл Смит. – На марках изображены не только повелители стран, марки говорят нам гораздо больше, а именно: об аграрном или индустриальном развитии, о флоре и фауне и даже об отдельных происшествиях, как, например: об ЭКСПО-выставке, полете в космос и т.д. А вот даже недавно в гималайском княжестве Бутан выпустили марки в виде граммофонных пластинок, повествующих об истории и культуре страны.

– По монетам тоже можно получить достаточное представление о каждой эпохе, при том, монеты имеют то преимущество, что сохраняются гораздо дольше из-за своего материала; они выносливее и их находят при раскопках старинных городов, где не уцелел бы никогда бумажный продукт...

– Выносливость монет – это только единственное их преимущество, – опять перебил Карлстедта Билл. – Во всем другом они уступают маркам. Да это и вполне понятно, так как на чеканку монет затрачивается гораздо больше капитала, чем на выпуск марок... – У филателиста лицо покраснело, ноздри раздулись, лоб увлажнился. Спор грозил принять более ожесточенный характер.

"Вот этого еще не хватало", – подумала Нина, вспомнив, что Карлстедт – новый шеф ее мужа, и, как мудрая хозяйка, решила охладить накаляющуюся в гостиной атмосферу. Она решительным шагом направилась в спальню и вынесла оттуда шкатулку индийской резьбы из кипарисового дерева, на которой были искусно изображены цветы с пятью лепестками и фигуры людей на фоне каких-то экзотических строений. В этой шкатулке она хранила несколько десятков случайно попавших ей в руки во время войны монет, вместе со старыми ювелирными изделиями. Когда она открыла шкатулку, сильный запах кипариса перебил на мгновение даже запах духов и табака.

– Скажите, пожалуйста, – обратилась она к нумизмату, – имеют ли эти деньги какую-либо ценность? – Она подала ему горсть потемневших от времени, разных размеров монет, между которыми запутался небольшой крестик с цепочкой. Когда она старалась от него освободить монеты, Билл, не спуская глаз, следил за ней. Он умолк и, казалось, совсем забыл о недавнем горячем споре. Нина даже удивилась, что ее уловка покончить спор могла так успокоительно подействовать на заядлого филателиста, который сейчас не отрывал взгляда от ее руки. Затем все произошло очень быстро...

– Можно мне?... Вы знаете... Ах, Боже мой!... Неужели... – проговорил Билл. – Позвольте мне! Дайте! – Нина положила на его дрожащую ладонь крестик, который он стал жадно рассматривать.

– Так и есть, – наконец, прошептал он, - это мой крестик. Вот даже дата, когда мне его подарил в день коммуниона мой крестный. Как этот крестик к вам попал?

После его слов в гостиной воцарилась гробовая тишина. Потом начался удивительный диалог между хозяйкой дома и Биллом. В то время как они возбужденно говорили по-английски, но непонятными для других лаконическими фразами, они впивались друг в друга глазами.

– Италия... – прошептала она.

– Высадка на Эльбе... – добавил он.

– Июнь 1944-го года... жаркий полдень...

– Американский моряк... – его голос дрожал.

– Но того звали Вилли, почему же?.. – она запнулась.

– Вильям – это Вилли или Билл. У жены есть брат Вилли, вот она и стала для различия называть меня Биллом.

Пораженные эмоциями своих друзей, их слушали безмолвно все присутствовавшие в гостиной небольшого города в Нью Джерзи. Отдельные непонятные фразы стали связываться в полные предложения и в цельную удивительную историю...

Лазурная Тирена неудержимо бросалась, словно пытаясь испробовать свои силы, на золотистый горячий песок берега, но почувствовав, что не в состоянии удержать его в своих объятиях, трусливо отступала в бесконечные водные пространства. Море, полное энергии и желания покорить, пенилось, злилось и никогда не сдавалось. В небольших заливах оно плескалось спокойнее и напоминало собой голубую подушку с белой узенькой бахромой пены, положенную на золотой поднос песка.

Невдалеке от воды начиналась сосновая поросль, над которой возвышалось несколько величавых зонтикообразных пиний. Воздух был насыщен шумом хвои, ее вяленым пряным запахом и ярким солнцем.

Рядом с лесом вдоль берега протянулся небольшой курортный поселок — всего десяток красивых вилл. Несмотря на жаркое время, пляж пустовал. Лишь изредка ящерица быстро пробегала по песку, крутила хвостом, осматривалась кругом своими глазенками-бусинками и исчезала где-то в потайной норке. Немцы заминировали весь пляж.

Штатские жители были выселены военными властями из поселка, и в нем расположились немецкие части "вермахта" и строительная фирма из Лодзи, употреблявшая,как рабочую силу, поляков. Перед приездом в Италию эта фирма больше года находилась под Киевом. Когда немцы оставляли Украину, они взяли с собой несколько местных молодых рабочих и конторщицу Нину Кравчук, восемнадцатилетнюю девушку с копной густых темных волос и карими всегда смеющимися глазами.

Немцы фирмы заняли для себя и своих канцелярий большую виллу; а рабочих-иностранцев они расквартировали здесь же рядом в меньшем здании. Нину поместили, так как других женщин-иностранок не было, в "немецкой" вилле, где она разделяла комнату с толстой поварихой—баваркой Аннелизой.

Взаимоотношения между киевлянами и поляками не оставляли желать ничего лучшего. Все они,объединенные общей ненавистью к своим угнетателям, вместе подтрунивали над германскими "юберменшами".

Особенно хорошо относился к Нине главный бухгалтер Пелка, бледный лысый мужчина лет пятидесяти, у которого в Лодзи остались жена и дочь Нининого возраста. С ним, как с отцом, она могла поделиться всеми своими радостями и невзгодами. "Нина – наша девчынка, – говорил он о ней. – Мы вшисцы естесьмы словяне".

Фирма работала без выходных дней; рабочие часы часто прерывались тревогой. А бомбовозы союзников беспрерывно несли свой тяжелый груз на север.Их многомоторное гудение, будто хорошо спевшийся хор, доносилось грозно из-за облаков. Иногда вблизи слышались взрывы : это бомбили Виа Аурелиа, главную автомобильную магистраль западного побережья Италии,или заводы в ближайшем городе.

Постоянный немецкий шеф фирмы флегматичный Хоффманн был в отпуску; его заменил присланный из Лодзи рыже-

волосый дебелый херр Фрост, с первых же дней начавший проявлять интерес к Нине. С Фростом приехал и польский инженер Влодек Галицкий. Это был веселый интересный молодой человек, имевший неиссякаемый запас шуток. Он работал в одном бюро с Ниной, любил с ней поговорить и часто во время обеда подсаживался к ее столу.

— Хуже всего, — говорил он, — когда человек лишится родины. Он превращается в бездомного бродягу.

И он с чувством пел не особенно сильным, но приятным голосом:

Малы бялы домэк
В мэй паменьтиткви...

И в воображении девушки появлялся белый украинский домик под Киевом с красной железной крышей и палисадником полным цветов. Ей слышался голос матери и отца...

Как-то раз Нина спросила инженера:

— Влодек, почему тебе разрешают носить немецкую форму?

— Мне они доверяют, — ответил он. — Я имею немецкий диплом, а им нужны инженеры — их знания. Ведь все поляки здесь, кроме бухгалтера Пелки, простые рабочие. Вот немцы и желают меня обласкать для своей же выгоды.

Нина приняла его слова за чистую монету. Она не раз видела иностранцев в немецких формах при "вермахте", да и сама сейчас она разделяла комнату с немкой.

Но что-то в глубине души немного беспокоило ее в отношении Влодека. Ей казалось, что в его поведении она улавливала какую-то двойственность.

— Влодек ведь из Лодзи, — начала она разговор с паном Пелкой. — Он тоже ваш...

— Он наш и не наш, — сказал бухгалтер дипломатически. — Ему шеф доверяет.

Но как она не старалась вызвать его на дальнейший разговор о молодом инженере, он избегал прямых ответов.

"И наш, и не наш", — хорошо запомнила Нина и действительно вся характеристика Влодека укладывалась в эти слова. Когда они были вдвоем, он мило шутил, напевал польские песенки и ей становилось легко и свободно, ей хотелось быть с ним. Но иногда он удалялся от нее, становился совсем чужим, словно между ними появлялась каменная стена. Это было тогда, когда он с Фростом авторитетно о чем-то дискутировал

или, войдя в бюро к шефу, говорил "Хайль Хитлер!". Дело не в самом приветствии–его зачастую должны были употреблять и поляки, работавшие при немцах в канцелярии,–но Нину коробило рвение, с которым он поднимал правую руку, и чувство превосходства, с которым он отчитывал за ошибки своих подчиненных соотечественников. Тогда он удалялся, уходил далеко от нее, тогда он становился "не нашим".

2

Однажды после ужина херр Фрост обратился к Нине:

– У меня для вас экстренная работа, зайдите сегодня в девять часов ко мне в бюро.

Когда девушка переступила порог кабинета своего шефа, ей сразу бросился в глаза на кофейном столике возле роскошного дивана поднос с двумя рюмками и бутылкой дорогого вина. Тогда Нина поняла, что работа была лишь предлогом заманить ее в ловушку, но херр Фрост уже успел запереть дверь и положить ключ в карман. Окна были тоже закрыты и завешены темной бумагой из-за опасности воздушных налетов.

Фрост с дурацкой улыбкой на лице подошел к ней и фамильярно обнял ее. Нина была поражена. Началась упорная борьба.

– Я закричу – все сбегутся, – отчаянно защищалась она.

– Если ты не согласишься, – перешел он сразу на "ты", – я тебя пристрелю, как паршивую собаку, и закопаю где-либо – даже никто не узнает. Кто там будет интересоваться какой-то иностранкой.

Все же на грубое насилие он не пошел: возможно, как отцу большого семейства, ему было бы стыдно перед товарищами, если бы девушка начала кричать. Он ее также и не застрелил, – как видно, в его натуре просто отсутствовали задатки убийцы. Но при своих домогательствах он нечаянно столкнул бутылку и ценный "нектар" разлился по полу. К тому же,оказалось разорванным на груди платье его жертвы.

Дверь все же херр Фрост, наконец, открыл, но на прощание прошипел непокорной девушке:

– Я тебя еще со света сживу, иностранная свинья!

Нина, расстроенная и оскорбленная, не хотела идти в свою комнату к любопытной Аннелизе. Она спустилась в небольшой, немного одичалый без присмотра садовника садик, куда ясно долетал плеск моря, переплетавшийся с шелестом росших здесь сосен. Был летний чудный вечер. В лунном с редкими

серебристыми тучками небе высоко гудел одинокий самолет, но тревоги не давали. Девушка\села на скамейку. Этот прекрасный вечер как бы подчеркивал ее одиночество и то, что ее близкие и родина остались далеко позади на ее пути. Ее правая рука, потерпевшая при схватке с Фростом, ныла, а в ушах до сих пор звучали его угрозы. Слезы невольно навернулись ей на глаза и горячими каплями упали на ее колени.

Кто-то осторожно прикоснулся к ее плечу. От неожиданности девушка вздрогнула и обернулась. Это был Влодек.

– Что случилось? Почему ты плачешь? – спросил он ласково.

И в порыве откровенности она вылила ему все свои чувства, переполнившие ее сердце, не забыв описать ему и недавнюю схватку с Фростом.

– Вот еще развратный пошлый козел,- возмутился Влодек.

– Что же мне теперь делать? – пришла в отчаяние Нина, – я не могу оставить эту фирму, за побег мне, если поймают, не миновать концентрационного лагеря, а здесь мне Фрост будет мстить.

– Не волнуйся и не плачь, – сказал ей Влодек. – Я с Фростом все улажу, а вот – носовой платок, – дай я вытру твои слезы.

Он заботливо вытирал ей слезы, и она постепенно успокаивалась.

– Вот так, вот так лучше, – приговаривал Влодек, словно она была маленьким ребенком.

Они сидели долго под сенью шумящей сосны и разговаривали. Он держал ее руку в своей.

С этого вечера все изменилось. Херр Фрост не приставал больше к Нине и репрессии с его стороны не приходили. Зато Влодек стал проявлять к ней интенсивный интерес. Его глаза, цвета меда, останавливались на ней. Но его ухаживания не были ни нахальными, ни пошлыми. Он скорей проявлял о ней заботу: привозил ей из деревни фрукты, подарил коробку теперь дефицитного шоколада из Перуджии и оказывал другие признаки внимания. С ним она чувствовала себя защищенной, ценила его отношение к себе и радовалась, когда видела его. Привязанность к нему в ее сердце быстро росла, превращаясь в любовь.

После ужина молодые люди часто встречались.

– Нина, сегодня я в бюро искал одну нужную мне бумагу,

– как-то сказал он ей, – и случайно мне попались в руки твои документы. У твоей бабушки по матери нерусская девичья фамилия Юнге, – что она была немкой?

– Не знаю, – пожала плечами девушка. Мы всегда считали себя украинцами, и я никогда не заботилась о национальности бабушки.

– Ты – идеалистка, – удивился Влодек.– Другие бы из-за материальной выгоды, которой пользуются фольксдойче, не только бы бабушку, но и прабабушку из гроба выпотрошили.

– Материальные вещи не так важны в жизни, – заметила она.

– Но это дало бы тебе право не только на материальные выгоды, ты имела бы даже право выйти замуж за немца.

– У меня нет поклонника-немца, зачем же утруднять себя поисками немецкой бабушки, – рассмеялась она.

3.

Теплой июньской ночью, лишь Нина уснула первым крепким сном, ее разбудила Аннелизе.

– Опять тревога?... Опять бежать в подвал?... – простонала еще полусонная девушка.

Аннелизе продолжала ее тормошить за плечо.

– Иди, посмотри, что творится над морем, – говорила она взволнованно.

Нина поспешно набросила на пижаму голубой с крапинками халат и выбежала с Аннелизой во двор, где группами толпились и остальные жители ближайших вилл, некоторые из них тоже только в халатах.

Море представляло собой величавое зрелище: оно полыхало, словно объятое пламенем гигантского пожара. В тучах дрожали мягкие отсветы огня. То они тускнели, то опять разгорались, питаемые новыми вспышками, наполняя море каким-то жутким волнующим трепетом, – оно словно жило, словно дышало. Сотни ракет, точно фейерверки, загорались в небе и рассыпались многочисленными звездочками, постепенно опадая в волны. Световые иллюминации сопровождались звуковыми эффектами: раскатами орудийных залпов, заглушенными дистанцией, и невнятным рокотом, несшимся над морем и отдающимся эхом за горизонтом. Это было истинно сказочное зрелище.

Так случилось, что Аннелизе отошла от Нины к громко разговаривающей группе немцев, а возле девушки очутился Влодек.

– Что там происходит? – пораженная удивительным видом моря, спросила она.

– Это, должно быть, союзники пытаются захватить Эльбу, – высказал он свое предположение. Я с самого вечера предвидел, что нечто подобное произойдет.

– Почему же? – удивилась она.

– Сегодня я засиделся у Фроста в связи с новой работой, – заявил он. – Когда же я от него вышел, мое внимание притянуло какое-то необычное движение на море, шум моторов. Ясно, немцы поняли намерение союзников захватить Эльбу и, чтобы не быть позже отрезанными, поспешили провести свои суда на север.

– Остров отделен довольно широким проливом, а кажется, все происходит будто в двух-трех километрах, – удивилась Нина, обратив внимание на новую вспышку и недалекий орудийный залп.

– Это, как видно, завязался бой между немецким и союзным судном.

– С каждым выстрелом там гибнут люди, – вздохнула девушка. Она вздрагивала от выстрелов, и Влодек обнял ее за плечи. Так они долго стояли вместе, наблюдая за морем. Тем временем бой стал утихать, а зрители начали постепенно расходиться.

– Ну, уже пора, – завтра раню на работу, – спохватилась девушка, хотя ей совсем еще не хотелось расставаться с молодым человеком.

– Я завтра вечером не смогу тебя видеть, – сказал он с сожалением в голосе. – Я уже упоминал, что говорил с шефом о новой работе: мы должны восстановить срочно кусок разбомбленной главной дороги с небольшим мостком, и работы эти будут производиться только по ночам. Но я завтра тебя увижу на короткое время после ужина.

Когда она протянула ему руку на прощание, он задержал ее в своей и притянул девушку к себе. На мгновение она прикоснулась щекой к борту его форменной грубой куртки, и вдруг ее губы ожег горячий поцелуй. Они стояли обнявшись несколько минут, поглощенные взаимными чувствами.

– Моя девчынка, – проговорил он нежно.

Неудержимая радость сразу опьянила ее. Счастье переполнило ее девичье сердце. Он проводил ее к двери и, когда он сбегал вниз по лестнице, она, еще полная чувств, оберну-

лась и посмотрела ему вслед. Как раз в то время одна из уже редких вспышек осветила отходившего от нее Влодека, на рукаве у которого выделялась красная повязка с черной свастикой в белом круге. И вид этой чуждой, ненавистной свастики заставил ее вздрогнуть, омрачив счастливые минуты.

* * *

Солнце щедро разливало свои знойные лучи на объятое ленивой дремотой побережье. Казалось, даже волны нехотя плескались о горячий песок. Пахло морем и хвоей.

Был полдень. Нина быстро пообедала, оставила душную столовую и пошла вдоль колючих заграждений. Девушка была рада побыть с собой наедине, так как всегда кто-нибудь присутствовал за ее спиной и в конторе, и в комнате. На встречу с Влодеком она сейчас не рассчитывала, зная, что он поехал с поляками в Пиомбино за материалом для ночной работы, – после ужина она увидит его. Море, над которым вчера ночью гремели громы и полыхали молнии войны, лежало перед ней спокойной бирюзовой равниной. Солнце сильно слепило. Внезапно ей показалось, что на берегу по другую сторону проволоки, где было заминировано, что-то зашевелилось. Защищая глаза рукой от солнца, она увидела, что по песку в направлении заграждений шел шатающейся пьяной походкой мужчина в коротких белых трусах. Мгновенно все ее тело пронзил, точно электрическим током, страх за этого незнакомого ей человека, движущегося к своей гибели, – он или не заметил заграждений, или же не понял их значения, – что там находилась заминированная территория.

– Остановитесь, остановитесь! – крикнула она по-итальянски.

Незнакомец, услышав ее, остановился. Она подбежала к проволоке, повторяя:

– Мины! Мины!... Идите по воде вон к тому небольшому обрыву. Я вас выведу на безопасное место, – объясняла она, подкрепляя слова жестикуляцией.

Он повиновался и пошел назад к воде. Некоторое время они двигались параллельно в одном направлении, разделенные витками колючей проволоки и полоской песка, пока не встретились у скалы, выступающей в море. Незнакомец, рослый черноволосый и сероглазый юноша, был очень бледен и еле держался на ногах от усталости. В изнеможении он опустился на камень. На волосатой груди его блестел серебряный крестик.

– Кто вы? – спросил он.

– А кто вы? – ответила она вопросом на вопрос, изучая его взглядом.

– Мое имя Вилли Смит. Я с американского судна, которое было потоплено немцами прошлой ночью. Я провел много часов в воде.

– Я видела вчера бой на море, – сказала она.

– Сегодня, наверное, Эльба уже наша.

Только теперь Нина поняла опасность создавшегося положения. Она осмотрелась вокруг – никого не было видно. Она потянула его за руку в кусты.

– Здесь всюду кишит немцами, – объяснила она.

Разговор с обеих сторон велся на плохом итальянском языке при помощи жестикуляции. Через несколько минут юноша уже знал, что она из Украины и что здесь все дома реквизированы немцами.

– Что же вы будете делать? – спросила она.

– Если бы я достал одежду, я попробовал бы пробраться на юг к своим.

– Я вам достану одежду и немного еды, – предложила она. – Вы же сидите здесь и ждите. А мне уже пора, – взглянула она на часы, – а то меня еще заподозрят. Я приду после работы.

Американец внимательно смотрел на нее, как будто пытался прочесть ее сокровенные мысли и глазами спрашивал: "не предашь ли?" – но словами он не выразил своих опасений.

Они попрощались. Нина бежала в бюро и обдумывала случившееся. У нее были папиросы – она не курила и сберегала свой рацион, иногда обменивая у итальянцев курево на нужные ей предметы. – "К кому обратиться?" – спрашивала она себя – Влодек был в Пиомбино, – и она решила поговорить с паном Пелкой.

4.

– Могли бы вы достать для меня срочно за папиросы штатскую мужскую одежду, обувь и немного еды? – спросила она тихо, подойдя к его столику во время работы. – Она назвала приблизительные размеры.

Пан Пелка внимательно посмотрел на нее через увеличительные линзы очков, но не задал ни одного вопроса.

– Я постараюсь, – пообещал он.

После работы пан Пелка принес ей изрядно поношенную, но все еще пригодную одежду, серый кирпич военного хлеба, маргарин и немного колбасы.

– Прошу об этом не говорить даже нашим полякам, – заметил он. – Между ними есть такие, которые не заслуживают доверия.

Нина никому ничего не сказала и после ужина, когда уже солнце бросало косые лучи на верхушки сосен, побежала в заросли к моряку.

– Я вас так ждал, – воскликнул юноша и его глаза загорелись радостью.

Старые вещи с чьего-то плеча осчастливили его так, как будто это была обновка из рук самого лучшего портного. Он оделся и стал быстро и жадно есть бутерброд, подставляя под него другую ладонь, чтобы не потерять ни одной крошки. Потом он аккуратно завернул остаток еды в бумагу и обвязал шпагатом.

– Благодарю вас за все, – сказал он. – Если бы не вы, я бы возможно подорвался на мине. Хотел бы вас иначе отблагодарить, но нечем.

– Мне ничего не надо, – скромно сказала она.

Моряк подумал, расстегнул ворот рубахи и снял со своей шеи блестящий нательный крестик.

– Возьмите на память, – и он протянул его девушке.

Она стала отказываться.

– Нет, нет, обязательно возьмите, иначе я буду обижен, – настаивал он и сам надел ей крестик на шею, объясняя: – Его специально сделал для меня мой крестный отец, ювелир, в подарок по случаю моего первого причастия. Да благословит вас Бог за вашу доброту.

Он записал в ее блокнотик свой американский адрес и попросил ее написать ему после окончания войны.

– Желаю вам успеха в воссоединении со своими, – пожелала она искренне на прощание.

Возвращалась она назад, когда смеркалось. Влодек ее не ожидал на условленном месте – она опоздала. На площадке под пиниями не было грузовиков – поляки уехали на работу. Она пошла к себе в комнату. Она стала там разглядывать подаренный ей крестик: он действительно представлял собой произведение искусства – каждая деталь тернового венка на голове Спасителя была тщательно отработана, а на лице Иисуса застыло страдание.

Уже в постели она еще раз пожелала успеха своему американскому моряку. Его успех был бы и ее успехом. Потом ее мысли перешли к Влодеку и она нежно прильнула щекой к подушке.

Нина проснулась от шума – это возвратились поляки с ночной работы. Солнце только всходило и его оранжевые блики рассыпались по полу. Аннелизе еще спала, сладко похрапывая. У соседней виллы, точно муравьи, сновали поляки в черной одежде. Среди них выделялась золотистая униформа Влодека. При виде его ее сердце учащенно забилось, но сразу чувство радости перешло в изумление.

– Лос! Лос! – кричал Влодек. В его поднятой руке был наган, наведенный на мужчину в штатском. Сначала она узнала одежду, которую вчера получила от пана Пелки, а потом и самого моряка, крестик которого она имела на своей груди. Она прильнула к стеклу. В это время Влодек втолкнул американца в подвал с такой силой, что тот чуть не скатился по лестнице. Нина стояла как парализованная. Недавнее нежное чувство к Влодеку уже успело превратиться в возмущение. В нем все, что она называла "наше", сразу как-то отошло далеко, далеко. Там во дворе действовал совсем чужой человек. Она стояла с опущенными руками, разочарованная. Все вчерашние волнения из-за моряка и пожелания ему успеха были выброшены на ветер.

В полдень моряка вели под конвоем к грузовику для пересылки в лагерь военнопленных. Возле левого глаза у него красовался большой синяк. Он увидел Нину среди толпившихся у ворот любопытных немцев и поляков, улыбнулся и помахал рукой. Она знала, что этот прощальный жест направлен к ней.

После ужина к ней подошел Влодек.

– Сегодня опять работаем ночью, моя девчынка, – заявил он. – Ожидаю с нетерпением, чтобы быть с тобой. А я вчера тебя искал. Где ты была?

– Я видела, ты поймал американца, – сказала она, не отвечая на его вопрос. – Как это случилось?

– Мы случайно наткнулись на него возле той дороги, где будем строить временный объезд, – невинно начал рассказывать молодой человек и взял ее за руку. – Он, увидев нас, сразу шмыгнул в кусты. Мне пришлось гнаться за ним. А когда я поймал его, между нами завязалась драка. Он, пся-крев, оказался очень силен. Вот тогда я ему фонарь под глазом и поставил.

Глаза Влодека блестели, как у охотника, который вспоминал об опасной и удавшейся охоте. Нина осторожно высвободила свою руку из его руки. Он же, занятый своим рассказом, даже не заметил этого.

– Ну, Нинусю, увидимся завтра, – сказал он и обнял ее, чтобы поцеловать, но она отвернулась и поцелуй пришелся в щеку. В ней все кипело от негодования; ей хотелось крикнуть ему в лицо, что он подлый немецкий подхалим, что это было совсем не его дело избивать незнакомого ему американца и брать его для немцев в плен. Однако, она сдержалась.

– Желаю и сегодня тебе успешной охоты, – сказала она с презрением.

– Какой охоты? – спросил он.

– На людей... на американцев.

Не поняв насмешки в ее словах, он улыбнулся.

С этого дня между Влодеком и Ниной все распалось... Не понимая в чем дело, он не отставал от нее со своими ухаживаниями и раздражался, что она стала с ним холодна. Наверное, со временем они бы сделались самыми заядлыми врагами, но выручил случай: Влодек с группой поляков был послан во Флоренцию. Правда, их дороги еще раз скрестились, когда всю Италию захватили союзники. Она опять встретилась с Влодеком в лагере для немецких военнопленных. Нину и других поляков поместили туда лишь на несколько дней для оформления документов, а Влодек, как немец, должен был ожидать там неопределенное время отправки в Германию. "Не наш", – вспомнила тогда Нина. От него у нее остались только воспоминания и фотография: самоуверенно выглядевший молодой человек с чувственными крупными губами и прядью волнистых, лихо выбившихся из-под форменной фуражки волос. И Нина думала каждый раз, когда в руки ей попадалась его фотография: этот человек мог стать для меня кем-то гораздо большим, чем только знакомым.

В Америке, 28 лет после окончания войны, двое старых случайных знакомых встретились на обеде в одном из зеленых пригородов Нью Джерзи. А остальные присутствовавшие, пораженные столь необычной историей, сидели и, затаив дыхание, слушали, не пропуская ни одного их слова. Серебряный крестик переходил из рук в руки.

Вскоре хлопнула пробка шампанского, и Билл, наполнив бокалы, предложил тост:

–Друзья, выпьем за тех, кто не побоялся рискнуть своей жизнью для спасения ближнего!

ОБОКРАДЕННОЕ СЕРДЦЕ

Серое мрачное утро обволакивало Нью-Йорк, скрывая в тумане верхушки небоскребов. Осенний дождь шумел по крышам и стенам домов, в водосточных трубах и по асфальту тротуара. Быстрые потоки воды смывали бумажки, плевки, ореховую шелуху, оставляя лишь клейкую жевательную резину, которая на мокром асфальте казалась еще безобразнее, чем прежде. Дождь лил с напористостью душа; иногда этот поток с неба разлетался веером от порывов ветра; в нем нельзя было видеть отдельные капли или слышать отдельные удары. Эта своеобразная колыбельная песня успокаивала нервы и ум. В такую погоду хорошо спится.

Кто-то постучал в дверь. Стук был тихий и вкрадчивый, лишь немного сильнее,чем шум дождя за окном. Анна Владимировна открыла глаза. Стук повторился.

"Одну минутку"– крикнула она сонным голосом и, сорвавшись с постели и набросив на себя цветной стеганый халатик, направилась к двери, приглаживая рукой свои полуседые, непричесанные волосы,и, еще не совсем проснувшись, отворила ее. Скрежет задвижки послужил как бы сигналом для быстрого развертывания последующих действий в таком обилии, что они не могли вместиться сразу в нормальные человеческие ощущения – сначала блеснули два очень белых белка на лице молодого парня... грязные ногти на здоровенной темной руке и замшевая коричневая манжета... Запах табака и мокрой одежды. Что-то было в этом лице, что заставило ее вздрогнуть и съежиться, что-то роковое, неизбежное. Дверь толчком полетела на женщину, отбросив ее в сторону.

"Ничего с тобой не случится, старуха", – проговорил ворвавшийся хриплым шепотком, – "если ты будешь делать то, что я скажу".

Все произошло так быстро и стремительно, что Анна Владимировна даже не перепугалась, а лишь от изумления окаменела. Только вчера по телевидению она видела подобную сцену. Такие же избитые слова встречались в каждом

криминальном романе. А теперь они были обращены к ней непосредственно. Как это могло случиться?

"Что вам нужно?" – насилу пролепетала она.

"Деньги, старуха, деньги", – с насмешкой тихо ответил ворвавшийся.

"Все деньги у меня в сумке, а больше у меня нет", – простонала она.

"Предстоит мне самому в этом убедиться", – опять насмешливо проговорил грабитель. После этих слов он как будто уже не замечал больше этой худенькой пожилой женщины, опершейся спиной о стену и большими голубыми глазами следящей за ним. –Ее возмущало и коробило не то, что он намеревался ограбить ее, а то что этот чужой человек хозяйничал в ее квартире, как в своей собственной. У нее было лишь две комнатки, обставленные довольно старой и изношенной мебелью, но это был ее угол.

Сначала он полез в ее сумочку, лежавшую на ночном столике, и, найдя там лишь десять долларов с мелочью, высыпал себе в карман. После этого каждое его движение сопровождалось тонким звоном монет в кармане. Потом он открыл шкатулку на комоде и достал оттуда нитку жемчуга. У Анны Владимировны сжалось сердце – ей было жалко этой последней, оставшейся у нее дорогой вещи, пронесенной ею сквозь бури войн и революций. Жемчуг подарила ей, тогда еще девочке с косичками, почти полстолетия тому назад, ее бабушка-помещица.

У нее был порыв остановить злодея – настолько была ей дорога эта фамильная ценность, но она вовремя опомнилась.

– Большинство убийств происходит потому, что люди цепко держатся за свой скарб, – подумала она. – Сопротивляются. Пусть берет, лишь бы не тронул меня. В жизни уже не раз бывало, что теряла все.

Грабитель больше ничего не искал в спальне, служащей одновременно и гостиной, когда Анна Владимировна днем покрывала тахту ковром. Он даже не вывалил всех вещей из комода, как это в таких случаях делается, не заглянул под матрац, излюбленное место для хранения денег и драгоценностей, а большими мягкими шагами, напоминающими кошачьи прыжки, направился в кухню.

"Иди сюда, старуха,"– скомандовал он, опасаясь, что она выскользнет незаметно в коридор.

Она последовала за ним на определенной дистанции, все еще находясь как в столбняке. Почему-то поток воды на окне гипнотизировал ее и некстати отвлекал ее внимание. Стекло было сплошь усеяно отдельными прозрачными капельками. Их дополняли новые и своей тяжестью заставляли сбегать крошечными ручейками вниз. Однако, когда грабитель открыл дверцу в шкафчик с посудой, она сразу забыла о дожде и об окне, и ее чувства заострились до крайности. Ее нервы напряглись так, что все тело заболело. Она впилась в грабителя глазами и интенсивно следила за ним, словно от его последующих действий зависела вся ее жизнь. Ведь в этом посудном ящике было двойное дно, под дощечкой образующее небольшой тайник, где она берегла деньги. Четыреста долларов. Это все, что имела. Но дело было не только в деньгах, а в том, что, кроме нее, о тайнике знал лишь один единственный человек, ставший ей за последнее время очень дорогим и заполнивший всю ее жизнь. Она поведала ему свой секрет в минуту откровенности.

Когда непрошенный гость, переставив с нижней левой стороны шкафчика посуду на пол, отогнул белую клеенку, которой была застлана полочка, и вынул дощечку, тревога, замешательство, усиливающееся с каждым мгновением, прорвались наружу. Подозрение стало реальностью. Анна Владимировна потеряла самообладание, рванулась вперед и крепко вцепилась в плечо разбойника руками.

"Вам сказали?... Вам сказали об этом месте!?" – истерически закричала она, не то утверждая, не то спрашивая. – "Кто вам сказал?..." – неистово теребила она замшевую куртку на его плече. – Кто? – Какой глупый вопрос... Она знала кто, но почему-то хотела услышать подтверждение такого предательства.

От неожиданности грабитель на несколько мгновений так и застыл на корточках перед посудным ящиком, но затем быстро выпрямился, оторвал от плеча цепкие сухие пальцы старухи и с силой оттолкнул ее от себя. А она, маленькая и хрупкая, пятясь назад и стараясь сохранить равновесие, не-

уклюже замахала руками, но не удержалась на ногах и упала навзничь на линолеум пола, ударившись головой о ножку стола. Она почувствовала боль в затылке. Как будто тысячи дождевых капель, непомерно больших и тяжелых, сразу застучали по ее мозгу. Она потеряла сознание и затихла. А грабитель с досадой нагнулся над ней.

"Я же предупреждал тебя, старуха"— тихо сказал он.

* * *

Анна Владимировна очнулась только в госпитале. Голова болела, во всем теле чувствовалась слабость. Ей сказали, что ее нашла на полу в кухне ее ученица музыки, пришедшая на урок. В ее уме весь ужас ограбления переплетался с шумом дождя, с бряцанием о стекло капель, серых, одинаковых, бесконечных. И тогда ей припомнился совсем другой день, солнечный, летний, наполненный криками играющих детей...

В эту часть Нью-Йорка она переселилась недавно, так как дом, где она раньше жила, был предназначен на слом. Ее на прогулки по улицам гнало одиночество. Это проклятое одиночество со времени смерти мужа, погибшего в автомобильной катастрофе два года тому назад, не давало ей жить, тревожило ее сердце и вселяло в нее страх. Ее как будто оторвали от всего человечества и забросили на необитаемую планету. Точно не хватало звеньев, раньше соединявших ее с миром. Детей у нее никогда не было и муж прежде заполнял все ее интересы, время и привязанности. А теперь образовалась пустота. Жутко жить, если никто тобой не интересуется, жутко возвращаться в пустую квартиру, где тебя никто не ждет... даже собака.

Все переменилось в этот летний день. Она вышла немного погулять и, дойдя до сквера, решила посидеть на скамейке. Ей вспомнились стихи Ивана Елагина об этом месте (книгу приобрел еще ее покойный муж):

"Там, в сквере, пять иль шесть
Деревьев оголенных,
Но как-то страшно сесть
У этих голых кленов..."

Она села на скамейку и стала рассматривать прохожих.

Солнце щедро прошивало золотистыми нитями скудную зелень чахлых городских деревьев. Каменный Данте, покрытый

городской пылью и копотью, мало походил на того, кто оставил нам свои бессмертные произведения. Завсегдатаев-пьяниц сегодня не было, — как видно, алкоголь не в дружбе с горячим солнцем. Поодаль сидел какой-то подозрительный тип, и бегали друг за другом дети. Мужчина ее возраста с палочкой в руке ковылял в направлении сквера. Он был невысок и немного сутул. Когда он попросил разрешения сесть рядом, она заметила, что у него зубы были пропитаны никотином...И этот некрасивый, ничем не примечательный человек оказался ее рыцарем, умчавшим ее с собой из невыносимого мертвого царства одиночества.

"Одиночество чувствуется хуже среди толпы в шумном городе, чем где-либо вдали от людей на лоне природы,"— сказал он с подкупающей простотой, как будто ни к кому не обращаясь, а просто высказывая свои мысли.

"Вы правы," — ответила она. — "Думаю, что это происходит потому, что в городе видишь кругом, как все куда-то спешат, у всех дела, семьи, а одинокий чувствует себя выкинутым за борт".

"Возможно, в этом немного и человеческой зависти", — задумчиво произнес он.

"У вас есть семья?" — спросила она.

Мужчина даже немного привстал.

-Ну,- подумалось ей, — в самое сердце попала!

"Жена умерла, но дети есть. Уже взрослые, свои семьи имеют. У них свои интересы. До старика, как я, им дела нет". Его крупное лицо, а особенно темные почти без ресниц глаза опечалились. Он стал нервно набивать трубку табаком. А Анна Владимировна начала говорить ему о смерти мужа и о безысходном одиночестве, которое и ее угнетало сейчас. Так откровенно она никому не признавалась, даже себе самой. Правду говорят, что иногда скорее откроешь сердце и душу чужому человеку, чем своему близкому. О своем одиночестве она не говорила даже со своими подругами. Этим бы она напрашивалась на сожаление, а они были заняты: некоторые еще работали, а после работы спешили выполнять свои домашние обязанности. Другие же были заняты своими семьями или семьями своих детей. Им было не до нее.

Новый знакомый Анны Владимировны был привезен родителями в Америку еще четырнадцатилетним мальчиком. Всю свою взрослую жизнь он проработал шофером такси, а недавно ушел на пенсию. Он умел высказываться о мелочах так, что его слова доходили до сердца.

"Трудно среди людей найти друга", – говорил он. – "Вот я и завел себе морских друзей – тропических рыб. Держу их в подвале – нужно же чем-нибудь заниматься".

И эти слова, точно теплое течение, сразу легко подхватили ее и понесли с собой.

"У меня тоже есть свои друзья", – призналась она. – "Я живу на втором этаже, где под самое окно подходит крыша веранды. И вот на эту крышу в определенное время я сыплю крошки. Птички слетаются на скромное пиршество. Я даже для многих из них имею имена".

В таких разговорах время пробежало быстро. Расплавленное золото солнца, склонившегося на запад и обволокшегося тучей, превратилось в яркий пурпур. Голубые тени легли между домами.

"Мне уже пора", – спохватилась она.

"А где вы живете?"

Оказалось, что они жили на одной и той же улице, и он проводил ее до самого дома.

За первой встречей последовали другие. Обоюдная симпатия переходила в дружбу, своего рода любовь, которая часто завязывается между одинокими стариками. Он не замедлил показать ей свой аквариум, после чего она пригласила его на чашку кофе. Вместе, стоя у окна, они кормили птиц и весело смеялись, когда те боролись за крошки и хитрили.

"Я у вас сразу заметил пианино. Вы играете?" – спросил он ее.

"Когда-то играла хорошо, а сейчас уже не то – все уходит безвозвратно."

"Сыграйте, пожалуйста!.. "

Она заиграла отрывок из "Пятой симфонии" Чайковского. Ее гость был удивлен.

"Хорошо, очень хорошо", – похвалил он. – "А не подумали ли вы, чтобы давать уроки музыки?.. "

Под его влиянием она поместила объявление в газете, и вскоре у нее появилось несколько учениц-подростков.

Новый друг оказался очень умным и практичным человеком. Для всего у него находились подходящие советы и на все были доводы, даже в совсем непредвиденных вещах. Както она ему заметила, что стала бояться ходить по улице даже днем.

"Будьте очень осторожны!" – сказал он. – "Но если действительно кто-то нападет на вас, запомните следующее: большинство убийств происходит потому, что люди держатся за свой мизерный скарб руками и ногами. Из этого следует, что лучше отдать грабителю сумку, чем лезть в драку из-за нее... Часто убийства бывают оттого", – продолжал он, –"что грабитель ничего не находит в виде добычи. Психологически это грабителя раздражает. Ведь у него тоже есть свои переживания, когда он решается на подобный шаг против закона. А в случае, если эти переживания и подготовка к грабежу оказались впустую, он станет мстить."

Эти слова запали в память Анне Владимировне и они с необыкновенной ясностью вспомнились ей в тот роковой день – день ее ограбления!

На "Валентайн" он принес ей коробку конфет и бутылку мадеры . У них были совместные вечера с бутербродами и кофе, с игрой на пианино и задушевными разговорами. Он все знал о ней, даже о злосчастном тайнике... Деньги?–Пустяки! Обокрали ее сердце, измученное, одинокое, случайно пригретое чужим теплом. Пусть будут прокляты и час, и место, где она встретила Марио. Забыть бы ей этот невзрачный сквер, над которым возвышается Данте, как страж у двери ада, каким является этот большой город, похожий на клоаку из-за пороков живущих в нем людей...

Больничные сестры приносили еду, но у нее не было аппетита. Ее рана на голове зажила, но ее глаза были полны боли. Они смотрели на потолок и в них, как в зеркале, отражалось ее глубокое душевное страдание. И когда она тихо умерла в осеннюю ночь, доктор неправильно определил причину ее смерти. Но он иначе и не мог, так как в медицине неизвестна такая болезнь как "обокраденное сердце".

СОБАЧИЙ ПИР

"Грин Эйкрс" – новое поселение. Молодые вербы, еще недавно похожие на метелки, уже успели разрастись. Юные ветви, как шелк, плавно развеваются при каждом дуновении ветра, и под их сенью приятно посидеть в жаркий день. Газоны с наступлением весны превращаются в сплошной бархатный ковер, по которому жужжат и щелкают косилки, электрические, с моторами и ручные. Это работают садовники. Наряду с ними в поте лица трудятся иногда и сами владельцы усадеб. Жители "Грин Эйкрс" – типичные горожане, по профессии врачи, дантисты и дельцы. За несколько лет жизни в пригороде они стали солидными фермерами и авторитетно рассуждают о паразитах растений, о сорных травах и, игнорируя метеорологические предсказания, как крестьяне, смотрят в небо, гадая, будет ли дождь. Принадлежат они к высшей прослойке среднего класса, имеют почти все по два или даже три автомобиля и негритянок-прислуг.

С момента возникновения "Грин Эйкрс" жизнь там протекала в полнейшей гармонии – ни распрей, ни ссор, ни даже злых слов между соседями. Но нет на земле ничего вечного, и в этом маленьком раю наступили черные дни.

Необходимо упомянуть, что в этой части предместья немалое собачье население. Животных здесь любят как собственных детей. Очень привязалась к своей собачонке совсем молодая, еще не имеющая детей чета О'Браен. Окруженные со всех сторон соседями с крикливым потомством, они создали себе "детскую идиллию". Их любимица – разношерстная, вислоухая дворняжка, неказистая на вид, но умная и сметливая, по имени "Девочка". Особенно смешной ее делает закрученный бубликом хвост. Миссис О'Браен приходит в восторг, когда собачонка беспрекословно повинуется и исполняет все ее приказания.

"Девочка, иди к папе", говорит она. И дворняжка, весело виляя своим "бубликом", направляется к мистеру О'Браену, который в свою очередь ей дает задание:

"Девочка-детка, иди поцелуй маму!"

Их соседи Эпстины имеют большого французского пуделя Наполеона. Его водят регулярно в парикмахерскую "Золотой столбик". После чего он, искусно подстриженный, словно гусар в черных рейтузах, горделиво марширует по тротуару. В парикмахерской он встречается часто с соседкой, тоже "француженкой", маленькой белой "Конфеткой". Это хрупкое существо в парикмахерской моют, подстригают, точно травку на газоне, и делают ей модную прическу, а также красят коготки красным лаком. Запаха лака она не терпит, поэтому во время педикюра неспокойна и чихает. Ей на голову надевают красный бантик под цвет расшитого камнями ошейника. Мордочка ее – три черных точки: пара глазок и носик. Конфетка – большая кокетка. Она совсем свела с ума почтенного Наполеона.

На "Грин Эйкрс" счета за услуги ветеринаров иногда даже превышают счета педиатров.

Всех собак, так как их хозяева являются также сторонниками порядка и чистоты своих газонов, выводят три раза в день в ближайший парк. Там они встречаются, здороваются по этикету, положенному собачьему племени,и, вероятно, обмениваются новостями. Иногда им даже разрешают побегать вместе. В парке все собачье население за зиму обильно удобряет землю. И лишь солнце весной станет пригревать, этот живописный район публика обходит сторонкой. Но любителей исключительно флоры – меньшинство, и они бессильны и только вздыхают.

У Вокеров есть тоже любимец: скандинавской породы пес Эрик, неразлучный друг пятилетнего карапуза – сынишки Сэма. Эрик – настоящий потомок викингов: сильный, породистый, мятежный, с большим самомнением.

Четвертого июля, в день Независимости, миссис Вокер собралась устроить традиционный грандиозный барбекью, т. е. пикник в своем саду, но полил дождь, и по разным причинам большинство гостей не явилось. На второй день она досадливо пересыпала солью размороженные куриные ляжки и крылышки, стараясь безрезультатно весь этот неизрасходованный запас продуктов вложить в холодильник.

"Что мне только со всем этим делать?"сокрушенно вздыхает она. Возле нее на кухне ее голубоглазый сынишка возится со своим любимцем Эриком.

"Мама, дай мне коржик," просит он.

Миссис Вокер ленится помыть руки.

"Ты уже большой, возьми сам", говорит она Сэму.

"Я уже большой!" с детской серьезностью подтверждает малыш. "Мне целых пять лет". Он важно разделяет коржик пополам с Эриком. И вдруг его пухленькое, розовое личико принимает любопытное выражение.

"Мама, сколько лет нашему Эрику?" спрашивает он.

"Да года три уже будет", рассеянно отвечает мать.

"Когда его день рождения?"

"Летом. Где-то в бумагах записано – в его собачьей метрике".

Упоминание матери о собачьих документах еще более расшевеливает любопытство мальчика. Он с такой назойливостью пристает к матери, чтобы узнать точный день рождения своего верного друга, что мать, наконец, уступает.

"Завтра Эрику будет три года", сообщает она мальчику, найдя нужную бумагу.

"Завтра ему три годика!" восклицает Сэм. "Мамочка, давай устроим ему день рождения".

Миссис Вокер сначала ухмыляется такому нелепому предложению сына, но потом, пораздумав, приходит к заключению, что эта мысль не такая уж и нелепая, так как после неудавшегося барбекью Четвертого июля у нее полный холодильник съестного. Кроме того, вскоре наступит ее очередь приглашать соседок на кофе с пирогом – такова традиция "Грин Эйкрс". Барбекью ликвидирует этот ее общественный долг.

"Почему бы и не отпраздновать день рождения Эрика", вслух произносит миссис Вокер.

"Мы пригласим и других собачек", в диком восторге уже строит планы малыш. "И Конфетку, и Девочку, и Кайзера, и других, а нашего Эрика посадим за стол в красной шапочке. На десерт собачки будут кушать мороженое", облизываясь, ликует карапуз, сам большой любитель всего сладкого.

И сразу обрушивается работа на телефон – миссис Вокер приглашает своих соседок с детьми и собаками. Последние, правда, – не вполне желанные гости, но было бы несправедливым не пригласить их для Эрика, виновника торжества. Конечно, шапочек и мороженого для четвероногих гостей не предназначено, но миссис Вокер в "Эй анд Пи" купила дюжину собачьих консервов "Алпо". Сначала кормят детей, которые после

обильной трапезы принимаются рассаживать собачек на газоне перед бумажными мисочками. Конфетку и Наполеона сажают рядом – все знают об их романе, и французская пара очень счастлива и довольна барбекью даже без угощений. Они влюбленно поглядывают друг на друга.

Тем временем взрослые наслаждаются "Хайболлом", выпивкой, и курятиной. Миссис Вокер, как заправский повар, в белом переднике и колпачке хлопочет возле горячей железной плитки, откуда разносится запах вкусного жареного мяса. Дамы восседают кто на стульчике, кто на траве. Говорят они о модах, о детях, о диетах для похудения и о том, как трудно найти сейчас хорошую "цветную помощь". Красноволосая миссис Карен, жизнерадостная модница, пришла в новом лилово-голубом платье из чистого шелка, за которое она "отвалила" в известном магазине "Сакс Пятое Авеню" только вчера семьдесят долларов. Она осторожно кладет на траву платочек и усаживается на него. Все восхищаются ее вкусом. И каждый посторонний, глядя на этих благовоспитанных дам, с уст которых слетают лишь милые слова и сладкие речи, позавидовал бы их мужьям, сейчас зашибающим где-то в горячем городе "деньгу". И правда, милые дамы.

Собак решают накормить последними, так как для них безусловно после двуногих гостей останется достаточно лакомых кусочков. Четвероногие, вывалив наружу свои огромные розовые языки, хотя и ведут себя соответственно всем правилам приличного воспитания, но уже с нетерпением иногда судорожно почесываются. Их ноздри от дразнящих запахов время от времени нервно вздрагивают. Здесь – все интернациональное собачье общество "Грин Эйкрс" – настоящая Лига Наций: немецкая овчарка Кайзер, сибирская лайка Распутин, мексиканская чувава Чикита, французская пара Наполеон и Конфетка и, конечно, хозяин дома скандинавец Эрик. Не приглашена лишь "Девочка" со своей хозяйкой О'Браен. Миссис Вокер удовлетворяет любопытство миссис Эпстин очень просто:

"Куда же простой дворняжке между этой аристократией чистой крови? Один хвост бубликом чего стоит?"

Но в действительности у миссис Вокер есть свои тайные причины и соображения, почему она не пригласила миссис О'Браен, а именно: на последней пирушке у миссис Эпстин мистер Вокер неприлично часто танцевал с блондинкой-красавицей миссис О'Браен, не обращая никакого внимания на свою жену. Но миссис Вокер солидная дама, она бы, конечно, никогда не призналась открыто в ревности к этой легкомысленной крашеной пустышке.

Между тем пир протекает весело и непринужденно, пока на улице где-то невдалеке не завыла полицейская сирена. Уже и так взбудораженные от мясных запахов собаки застывают на местах, насторожив свои музыкальные уши.Некоторые подпевают волшебной сирене, которая уплывает все дальше. Постепенно стихают и певцы. Только крошечная чувава, посаженная со своей мисочкой на невысокую табуретку, чтобы ее нечаянно не затоптали собаки-великаны, никак не может успокоиться, переводя вой на визг. Она, вся голенькая, как видно, удивляясь количеству волос в ухе своего соседа Распутина, не спускает с него глаз и заливается истерическим лаем. Распутин обтирает свое ухо лапой, будто отмахиваясь от назойливой мухи. Но задорная чувава не унимается. Наоборот, она направляет свою мордочку, подобно граммофонному рупору в самое ухо соседа. Это – уже предел: жара, пустой желудок, дразнящие вкусные запахи, а тут еще эта надоедливая мексиканка. Добрые голубые глаза Распутина начинают темнеть, наливаются кровью, и шерсть на спине поднимается дыбом.

В исступлении он бросается на свою нагую ничтожную соседку. Острые зубы впиваются в маленькую беспомощную лапку. Чикита душераздирающе визжит. Ее хозяйка, шестилетняя хорошенькая брюнеточка, дочь миссис Брус, бросается на выручку своей любимицы. Растерянная девочка нечаянно наступает на хвост Кайзеру, немецкой овчарке. Тот, взвыв от боли и не разобравшись в положении, вцепился в штанишки проходившего мимо мальчика Сэма, инициатора этого барбекью. Получилось настоящее столпотворение.

Конфетка, только что приведенная из парикмахерской и сидевшая тут же, пугается и с головокружительной быстротой мчится по газону в направлении, откуда доносится смех ее хозяйки. Но между ней и хозяйкой на траве стоит посуда с соусом барбекью, и белокурая четвероногая француженка, ослепленная страхом, влипает в этот соус. От неожиданной прохлады, охватившей все ее брюшко, и от пряных запахов она на несколько мгновений обалдевает, но потом с быстротой пули выскакивает из соуса, перекатывается через миссис Карен, сидящую в новом дорогом платье на траве на платочке, и, наконец, достигает спасительных ног своей хозяйки. Теперь все фиолетово-голубое платье миссис Карен густо усеяно оранжево-красными пятнами соуса. Владелица испорченного

одеяния в ужасе выпучивает глаза и испускает зловещий стон. Примчавшийся к своей Конфетке статный Наполеон заботливо слизывает с ее брюшка остатки соуса. Плач детей, визг собак и крики женщин заглушают все на еще недавно мирном газоне, на мирных "Грин Эйкрс".

Но вот мамаши тянут домой за руки своих детенышей, а в другой руке у них поводок с собакой. Только чуваву, которая не может ступить на свою искалеченную ножку, несет хозяйка миссис Брус перед собой, как торт с кремом. Прелестные дамы, с уст которых еще недавно слетали лишь приятные слова и бесконечные похвалы, сейчас обмениваются колкостями и дерзостями. Смотря на их почерневшие рты, теперь наблюдатель со стороны догадался бы, что их мужьям не живется спокойно. Результат барбекью: все присутствующие перессорились. – Миссис Карен не может простить хозяйке Конфетки свое испорченное модное платье; миссис Брус остается смертельным врагом хозяйки Распутина из-за переломленной лапки Чикиты. Миссис Вокер злится на хозяйку немецкой овчарки из-за порванных штанишек сына. И, конечно, все, еще так недавно восхищавшиеся предложением миссис Вокер о "собачьем барбекью", теперь ее упрекают:

"И откуда у нее только появилась такая сумасшедшая и дурацкая мысль устраивать псам пирушку".

Пуще всех сердится миссис О'Браен за то, что ее совсем не пригласила миссис Вокер.

"Подумаешь, какие отсталые люди в 20-ом столетии," жалуется она. "Они даже дискриминируют по отношению к дворняжке. Ах! Сколько еще на свете расовых предрассудков".

Она же безмерно злорадствует, что барбекью расстроилось.

Единственная миссис Эпстин, хозяйка Наполеона, ни на кого не сердится. Она нейтральна, но остерегается говорить с какой-либо соседкой, боясь восстановить других против себя и этим утерять свой золотой швейцарский нейтралитет.

Жизнь на "Грин Эйкрс" вошла в свою мрачную фазу. Ясно, что ссора затянется на очень продолжительное время.

Однако, в отличие от людей, собачки уже на следующий день забывают о замешательстве и неполадках, происшедших на барбекью. Они, когда их господа выводят погулять, старательно обнюхивают все деревца и столбики в окрестности и удивляются, почему им не только не разрешают поиграть при встречах, как раньше, со своими друзьями, а наоборот, их грубо и молчаливо растягивают за поводки в разные стороны.

МОЛЧАЛИВАЯ ЛЮБОВЬ

Посвящаю моей дочери

Белые облака, похожие на сугробы, бродили по небу. Но вот в синей проталине появилось солнце. Его косые лучи, вырвавшись из западни, покрыли блестящей зыбью еще незамерзшую середину озера и позолотили луковицу церкви. И все эти блики и тени, особенно сгустившиеся на противоположном берегу в лесу, казались Анатолию Яцуку знаменательными, когда он помогал своей спутнице сесть в автомобиль. Он был взволнован, будто в преддверии чего-то необычайного.

Эта милая женщина привлекла его внимание в наполненном людьми зале, где на столах были аккуратно разложены книги. Сначала он увидел ее в профиль: над черной, тонкой бровью прядь темно-русых волос, выбившихся из-под серой меховой шапочки. Ее губы слегка шевелились, когда она читала выбранную книгу. И он еще перед тем, как прочесть заголовок – "Кобзарь" Шевченко,– уже знал, скорее интуитивно почувствовал, что она его землячка. Но он не отважился с ней заговорить. Лишь позже в баре, где у столика она сидела за стаканчиком "виски-сауэр", Анатолия представили ей Макаровы, его давнишние друзья.

"Алла", – сказала она. Он не расслышал фамилии. Из разговора выяснилось, что они живут в соседних городах и что она на русскую ферму приехала с Макаровыми; но так как последние собирались остаться здесь на ночь, а Алла хотела в тот же день возвратиться домой, он предложил подвезти ее. Вначале ему стало известно, что она, как и он, из Киева. Разговор оживился воспоминаниями о родном городе.

– Я окончил десятилетку как раз перед войной, – сказал Анатолий.

– Я тоже! – воскликнула Алла. – Выпускной вечер был 18-го июня, а потом мы всем классом ходили на Владимирскую горку встречать рассвет.

– Ну да, это была всегда традиция выпускников.

– Вы помните, какой чудный вид оттуда на Днепр и Труханов остров?!

– Труханов остров, – улыбнулся он прошлому. – Туда мы ездили всегда...

– ...Купаться, – окончила Алла. – А по выходным, если достанешь билет...

– ...На стадион "Динамо", – окончил ее мысль Анатолий.

И так продолжалось полтора часа. Они были как бы членами одной спортивной команды, которые даже думают одинаково. Только во время войны их дороги разошлись: он был призван в армию и вскоре попал в плен, а Аллу двумя годами позже обстоятельства занесли на юг Германии.

– Я сразу подумал, что вы моя землячка, – признался он.

– Потому что я купила "Кобзарь"?

– Даже до "Кобзаря" я почувствовал это шестым чувством.

Инженер-химик Анатолий Яцук жил один в маленькой, неблагоустроенной квартире под крышей. Широкоплечий и представительный, с округлым, по-славянски, всегда чисто выбритым лицом, он пользовался расположением у местных дам, хотя еще ни одна из них не сумела привлечь его внимания на продолжительное время. Но теперь что-то подсказывало ему, что эта рядом сидящая с ним женщина, так неожиданно вошедшая в его жизнь, не останется для него только случайной знакомой.

Одна за другой оставались позади мили, разговор разгорался как костер. И лишь в конце дороги он узнал, что Алла замужем и имеет двенадцатилетнюю дочь Глорию. Ее муж – американец-архитектор МэкМаллен. Это подействовало на Анатолия так, как будто на него вылили ушат холодной воды. Вот поэтому-то у нее на левой руке было непривычное для европейского глаза кольцо из белого золота, усеянное мелкими бриллиантами. Он поднял с сидения ее руку – она выглядела почти детской в его мужской большой руке, покрытой светлыми волосами. В его узких серых глазах потухли веселые искорки, когда он разглядел кольцо и решил, что это их первая и последняя встреча. Так будет лучше, раз она замужем. Его сердце сжалось, когда они остановились на окраине города перед ее домом. Алла пригласила его зайти на чашку кофе и он, зная, что не следовало бы, все же согласился.

На Анатолия, привыкшего к скромным домам, гостиная архитектора МэкМаллена произвела ошеломляющее впечатление – как видно сам хозяин немало потрудился над планом дома. Это был просторный зал со сплошной стеклянной стеной и высочайшим, так называемым "кафедральным", потолком. Хозяйка включила электричество: свет брызнул, троекратно усиливаясь, из тайников. С потолка вниз глянуло голубое небо с

серебряными узорами геометрической формы; сбегая по стене, оно простиралось до белого ковра, покрывавшего весь пол. В отдаленной части зала стоял овальный стол, окруженный стульями, похожими на сиденья межпланетной ракеты. Ему казалось, что если бы он сел на одно из них, то мигом взлетел бы ввысь.

– Пожалуйста, усаживайтесь поудобнее, – пригласила хозяйка, сбрасывая шубку. Когда она выходила в кухню, он невольно скользнул взглядом по ее ладной фигуре.

Анатолий чувствовал себя не в своей тарелке посреди этой необычной, чуждой ему роскоши. Самым знакомым показался ему громадных размеров живой цветок, разбросавший веточки вдоль всей стеклянной стены. Гость обрадовался этому "землянину", случайно попавшему в обстановку космоса, и притронулся к его узкому, длинному листку. "Землянин" отнесся к нему неблагосклонно, больно уколов его. Анатолий обиженно отошел и осторожно сел на диван, представляющий собой нагромождение мягких белых параллелепипедов и параллелограммов. Его взгляд остановился на экзотической формы кофейном столике, служившем одновременно аквариумом, на котором лежала купленная Аллой книга. "Если бы у 'Кобзаря' были ноги, он сбежал бы отсюда без оглядки", – подумал он.

Вскоре возле книги на столике появилась водка с апельсиновым соком, соленые огурцы и другие угощения. Сама хозяйка села наконец против своего гостя. Возле аквариума образовался словно живой оазис. Они разговаривали, пили и закусывали. На них со стен смотрели картины, напоминающие фазы лунного затмения. И каждый раз, когда Анатолий протягивал руку за рюмкой или закуской, из недр аквариума появлялось какое-то длинное, покрытое золотой чешуей тропическое чудовище с оранжевыми усами и такой же челкой.

– Это мой любимчик Жорж, – сказала Алла. – Он очень шаловлив и ужасно любопытен, – улыбнулась она.

Анатолию же казалось, что это существо считало каждый кусочек колбасы, каждый глоток водки, которые он направлял в рот. Но финалом его визита, когда они уже пили кофе, было появление самого архитектора Херберта МэкМаллена, высокого и худого человека с огненно-рыжими усами и волосами, торчащими на голове непослушным хохолком. Его лицо и руки были усыпаны золотистыми веснушками. К своему изумлению, Анатолий нашел поразительное сходство между ним и Жоржем из аквариума, который по внешнему виду мог бы быть "двоюродным братом в миниатюре" хозяину дома.

– А! У нас гости! – воскликнул вошедший весело и, прервав жену на полуслове, сам шумно представился, похлопал

гостя по плечу и побежал к бару. Вскоре, уже со стаканчиком "скоч он тэ рокс", он крикнул:

– Анатол, хотите присоединиться ко мне? Сегодня "Гиганты" играют с "Колтами".

Затем из соседней комнаты послышался голос комментатора матча, передаваемого по телевидению, и азартные возгласы болельщика. А Анатолий тем временем старался взвесить свои впечатления: нежная, скромная, поэтичная женщина и самоуверенный, шумный, грубоватый муж, даже не поцеловавший и не обнявший жены, которую он не видел целый день. В присутствии Херберта Алла совсем стушевалась. Несомненно между ними существовала бездонная пропасть. Она не могла быть с ним счастлива. Она в своем собственном доме казалась ему иностранкой, вернее инопланетянкой, как будто ее силой похитили и держали здесь. И ему стало непомерно жаль этой пленницы, находящейся в замке своего космического похитителя. Разве взбалмошный янки мог понять ее и оценить по достоинству?... Нет! Анатолий не мог оставить ее, такую одинокую среди этого нагромождения "модернизма".

Анатолий Яцук стал часто бывать в доме МэкМалленов, где его всегда ожидал радушный прием. Он сдружился с их дочерью Глорией, которая мало чем походила на своего отца и Жоржа: хотя ее волосы и были с медным отливом, она вышла, как и мать, чернобровой, с румяным и чистым лицом. Анатолия она называла "дяденькой".

Чем чаще Анатолий встречался с Аллой, тем больше он жаждал, чтобы судьба их соединила. Это не значило, что он желал смерти ее мужу – Боже сохрани! Он считал себя честным человеком. Но было ясно, что супружество двух таких непохожих друг на друга людей не могло долго просуществовать – это противоречило бы всем законам природы и логики, как, например, постройка небоскреба на топи или песке. Если до сих пор дело не дошло до развода, причиной этому была лишь их малолетняя дочь Глория, рассуждал он, но вот пройдет еще несколько лет, девушка поступит в колледж, и тогда случится неизбежное.

Когда Алла неоднократно спрашивала его, тяготится ли он своим одиночеством, он уклончиво отвечал:

–Пока будем держаться каждый за свое, а там посмотрим.– Этой фразе он придавал особое значение в надежде, что и его землячка понимает ее скрытый смысл.

Шли годы. Глория из неуклюжего подростка превратилась в высокую и красивую девушку. Она училась в Вашингтоне. У

Херберта посеребрились виски, а короткий ежик Анатолия значительно поредел и посветлел. За это время он сросся с семьей МэкМаллен и стал ее неотъемлемой частью. С ним советовались по всем важным вопросам. Посещая их, он по-хозяйски осматривал комнаты, делая замечания о новых приобретениях. А их теперь было множество: бывший в моде стиль "модерн" заменился итальянским провинциальным. Анатолий одобрял этот выбор и с удовольствием помогал сносить вниз, в комнату для игр, ненавистную ему "космическую" мебель. Среди нее был и аквариум, правда, без Жоржа, который по старости или по другой причине приказал долго жить. А Анатолий все еще надеялся и терпеливо ждал. Любая оплошность с его стороны могла бы испортить налаженные дружественные отношения – так непредвиденный порыв ветра срывает натянутые паруса и ломает мачты.

Развязка наступила внезапно: однажды, в туманное утро ранней весны ему в лабораторию позвонила Алла. В ее голосе слышались слезы:

– Анатолий, у нас большое несчастье.

– С Глорией?

– Нет, с мужем. Я с ним в больнице. Когда Херберт ехал утром в бюро, его на перекрестке ударил автомобиль.

– Он серьезно ранен?

– Очень серьезно.

Анатолий несколько дней сидел с Аллой у постели Херберта, находившегося в бессознательном состоянии, водил Аллу по пропитанным запахом медикаментов коридорам, услужливо приносил ей бутерброды, к которым она не прикасалась. Через два дня Херберта не стало. Он умер, не приходя в сознание.

После похорон потянулись тоскливые дни. Вдова потеряла почву под ногами.

– Как я теперь буду жить одна? Я чувствую себя совершенно потерянной, – повторяла она. – Я даже не знаю, как и куда платить за электричество и налоги за дом...

Слезы непослушно лились из ее карих глаз, и каждая слезинка выжигала ранку в сердце Анатолия.

– Не беспокойся, – успокаивал он ее. – Я помогу тебе во всем. Я же друг. Зачем же тогда друзья?

– Ах, Анатолий! Ты добрый, хороший человек, и я тебе от всей души благодарна.

Она с признательностью пожимала ему руку. Он взял на себя бухгалтерию и все мужские работы по дому; приносил ей любимые пирожные, возил ее к Глории в Вашингтон и на могилу мужа. Он старался украсить, чем только мог, жизнь этой женщины.

Год траура миновал. Алла, все острее чувствуя пустоту, еще горевала. Поэтому Анатолий медлил с предложением – надо было проявить такт и уважение к горю вдовы. Других преград у него больше не было. Алла не возражала, когда он брал ее руку в свою. Она его обнимала и целовала в щеку, когда он приходил к ней в дом. И он даже осмелился несколько раз ей намекнуть: "Для тебя, дорогая, лучше было бы начать новую жизнь..."

Алла с надеждой вопросительно смотрела на него, но он не договаривал.

Когда прошло полтора года с роковой даты, Анатолий начал замечать в Алле резкую перемену – она повеселела и на ее устах опять заиграла так идущая ей обворожительная улыбка, а в глазах появилась какая-то таинственная мечтательность. И Анатолий решил, что настал удобный момент для серьезного объяснения. Приближался День Благодарения. Алла МэкМаллен пригласила его на обед. Они будут одни, так как Глория из-за предстоящего экзамена не собиралась домой. Казалось, все ему благоприятствовало. Он очень нервничал. Ведь этого момента он ожидал восемь лет. Сколько раз он воображал себя в роли жениха (события развертываются как в кинематографе): Вот он приходит к ней. В его руках букет красных роз, любимых цветов Аллы, и бутылка шампанского. Но объяснение должно произойти лишь после обеда. В ожидании чего-то грандиозного, неповторимого, медленно тянутся минуты за столом, заставленным блюдами. Потом он ей, как всегда, помогает на кухне. Кофе они пьют в гостиной. И только тогда он ей скажет о своей любви...

С этой мыслью он нажал кнопку звонка. Дверь распахнулась и на пороге в элегантном сером платье стояла Алла. Как никогда, показалась она ему красивой. Ее глаза, щеки, нитка жемчуга – вся она как-будто излучала какое-то сияние. Как он хотел обнять ее – ему стоило больших усилий сдержать себя. Он прислушивался к голосу рассудка; все должно идти по плану. Он был словно суфлером пьесы, обещающей стать премьерой. И все пошло так, как было в его мысленном тексте: те же слова, те же движения.

– Анатолий дорогой, – воскликнула Алла, нюхая розы, – чудо, как хороши! Какой ты внимательный. Спасибо! Спасибо, милый.

Она поцеловала его и, извиняясь, исчезла в кухне, чтобы поставить цветы в воду, а шампанское на лед...

Но вот случилось что-то совсем непредвиденное: несмотря на то, что суфлер правильно продолжал подсказывать текст пьесы, к его удивлению, действующее лицо поступало совсем своевольно. Началось с того, что Алла обратилась к кому-то в кухне:

– Ричард, иди сюда, я тебя познакомлю с моим другом.

Он хотел крикнуть ей: "Не так! Ты сбилась!"

На пороге появился довольно плотный, холеный мужчина в очках в роговой оправе.

–Доктор Ричард Линк, – представила его Алла.

Как в тумане, Анатолий пожал белую мягкую руку незнакомца.

– Как кстати твои цветы, – продолжала хозяйка дома. – Мы с Ричардом сегодня обручились. Я хотела тебе сделать сюрприз, ведь ты давно мне твердишь, чтобы я начала новую жизнь. Вот я и решила... выхожу замуж.

Да! Это был сюрприз. Ему сразу бросилось в глаза, что дорогая ему женщина еще меньше подходила своему чопорному жениху, чем покойному мужу. Он только теперь заметил на ее левой руке новое кольцо с крупным бриллиантом, а на столе в столовой пышный букет точно таких же красных роз, какие принес он сам.

ПРИКАЗ ЕСТЬ ПРИКАЗ

Оберст Хайнц Штольц, комендант оккупированного украинского городка, обедал. Просторная столовая, расписанная юмористическими карикатурами солдат и "дер Фройлайнс"с бутылкообразными ногами, была почти пуста. Только в отдаленном углу громко сопел над супом переводчик, волжский немец Кнюппель, что оскорбляло музыкальный слух оберста. Вообще же он предпочитал есть со своим лейтенантом в маленькой удобной гостиной, где накрывался стол на двоих и к обеду подавались два или три "шнепсхен". Но лейтенант находился как раз в отъезде на несколько дней по служебным обязанностям, и оберсту было скучно обедать одному. Дородная молодая официантка-украинка с толстыми черными косами, обвитыми вокруг головы, поставила перед ним на подносе нарезанную говядину, отварной картофель и горох и затем молча удалилась. Оберст, положив в свою тарелку несколько ломтиков мяса, принялся за еду, задумчиво глядя в раскрытое окно на небо через только-что распустившиеся, еще словно клейкие листочки клена.

"Какое здесь голубое замечательное небо", – подумал он, –"совсем, как дома", – вспомнил он свою родную Саксонию, и глаза его, тоже голубые и ясные как небо,подернулись влагой. Легкие порывы майского приятного ветерка,иногда долетавшего в столовую, шевелили седеющие волосы на его висках и ласкали его строгое бледное лицо.

Но вот неожиданно ветер принес с собой обрывок чужой ему, но очень мелодичной песни, напеваемой вполголоса. Оберст прислушался. Голосок был свежий, совсем детский, но гибкий и чистый, подчеркивавший, что его хозяин обладал хорошим слухом. Оберст отложил салфетку на стол, поднялся во весь рост и, подойдя к окну, выглянул на улицу. Там, невдалеке, на старом пне сидел чумазый мальчуган девяти-десяти лет. Он возился с башмаком, у которого до самого каблука отстала подошва. Мальчик пытался привязать ее веревочкой и при этом, весь ушедший в свое занятие, тихо напевал.

Оберст с удовольствием слушал песню. – "Какой чудный голос", – поразился он, вспоминая не раз слышанный им в театре хор знаменитых "Венских мальчиков".

"Эй, юнге!" – крикнул он мальчугану, когда тот умолк. –"Ком маль хер!" – и поманил его рукой. Но мальчуган, увидев немецкую форму, сорвался с места и стремглав понесся по улице, боязливо озираясь.

"Кнюппель! Приведи мальчика сюда", –бросил оберст переводчику, –"того в серой рубашке, с разорванным башмаком".

"Яволь!" – подскочил, как на пружинах, солдат, и, отдав честь и цокнув каблуками, вылетел стрелой из столовой. Оберст довольно потер руки. Он любил беспрекословную поспешность и исполнительность своих подчиненных. Самое слово "приказ" для него имело магическое свойство. На твердой дисциплине держался фронт, армия, весь Третий Рейх. "Без послушания в исполнении приказов будет гибель, анархия", –говорил он . Поэтому оберст требовал безропотного подчинения себе и сам тоже слепо повиновался своему начальству. Солдаты, зная это, а также любовь оберста к музыке, между собой называли его "музыкальным приказом", но безоговорочно подчинялись, побаиваясь его.

Оберст Штольц видел в окно, как Кнюппель гнался за мальчишкой по безлюдной, немощеной улице. Мальчик был быстр и ловок, но он хромал. Веревочка на его башмаке, как видно, развязалась, и болтающаяся подошва затрудняла бег. Только в самом конце улицы мальчик был схвачен.

Когда Кнюппель, весь багровый от продолжительной погони, втащил в дверь такого же запыхавшегося мальчика, оберст уже спокойно сидел за столом, расправляясь с остатками мяса на своей тарелке.

Мальчик все еще пытался вырваться, и Кнюппель поусердствовал, дав ему подзатыльник.

"Оставь его", – приказал оберст.

Солдат отпустил своего пленника. Мальчуган большими карими глазами с опаской исподлобья смотрел на оберста, на его блестящий монокль и на целую выставку разноцветных лент на груди, представлявших отличия за военные доблести. Эти яркие краски униформы произвели сразу на пленника впечатление и вместе с тем испугали его. А оберст, отставив

тарелку, в свою очередь рассматривал мальчугана, его перепуганное обветренное лицо со вздернутым и усыпанным веснушками носом. Прядь густых светлых волос нависала мальчугану на самые глаза. Одет он был бедно – вся его убогая одежонка состояла из обтрепанных штанишек, серой рубашки и порванных ботинок, из которых выглядывали грязные пальцы ног.

"Ви хайст ду?" – спросил оберст.

"Как тебя зовут?" – перевел Кнюппель.

"Сережа", – ответил мальчик.

"Где ты живешь?"

"За городом, возле леса, в слободке".

"С отцом и матерью?"

"С матерью".

"А отец твой где?"

"В армии".

Оберст немного поморщился. А Сергей, почуяв, что немец говорит с ним дружелюбно, посмелел и отвечал на вопросы бойко и расторопно. Кнюппель точно переводил разговор. Вскоре выяснилось, что мальчику уже известны несколько немецких слов, и он сам даже осмелился потрогать лежавшую на столе фуражку офицера.

"Какая красивая!" – восторженно воскликнул он.

Оберсту юнец сразу же понравился.

"А ты, Сережа, хорошо поешь – я слыхал, когда ты пел на улице", – заметил он.

"Немного пою", – смутился мальчик.

"А для меня споешь?"

"Спою", – с готовностью проговорил Сергей. – "Чего хотите?"

"А вот ту песню, что ты пел перед домом".

"Сейчас?"

"Гони".

Тут мальчик отступил на два шага назад, словно этим создавая расстояние между сценой и публикой. Сложил на груди руки, как это делают артисты, и, набрав в легкие воздуха, громко запел:

"Ревэ та стогнэ Днипр шырокый,
Сэрдытый витер завыва..."

Его веснущатое лицо покраснело, а худая шейка дрожала, как у поющей канарейки. Песня лилась легко и свободно. Оберст, откинувшись на спинку стула, закрыл глаза и, казалось, совершенно погрузился в мечты. На его бледных узких губах заиграла улыбка. И, когда прислуживавшая за обедом украинка подошла спросить, сейчас ли подавать десерт – пудинг, он недовольно бросил ей: "потом"и, опять закрыв глаза, наслаждался пением. Когда песнь окончилась, он искренне похвалил:

"Вундершен! Прекрасно! Просто трудно поверить, что в таком захолустье такой голос и природный дар."

Протянув руку, он пожал грязную ручонку маленького артиста.

"Будем друзьями", – предложил он.

"Будем друзьями", – с рвением повторил Сережа.

"Но вот только одно плохо", – заметил оберст", – у тебя совсем порвались ботинки. Еще простудишься. А с таким голосом нужно быть осторожным. Кнюппель," – бросил он солдату, – "принеси пару носков и прикажи привести в порядок обувь".

"Яволь, херр Оберст!" – Солдат, опять прервав свой обед, вскочил и, взяв разорванный ботинок мальчика, понесся выполнять новое поручение.

Возвратившись через некоторое время в столовую, Кнюппель был крайне удивлен, увидев своего грозного начальника неуклюже жестами разъяснявшего что-то мальчику, который, улыбаясь во все свое веснущатое лицо, с аппетитом уплетал обед. Официантка суетилась возле стола. В окно приветливо кивала ветка клена, а на улице победоносным маршем шествовала весна.

С северной стороны городок примыкал к болоту. Зимой, когда вода замерзала, в прогалинах между камышом и осокой детям было раздолье. Они сходились сюда со всех отдаленных улиц бегать на коньках, кататься на санках. Звенели детские голоса; в холодном солнце сверкала сталь полозьев, резавшая прозрачный лед. Озорники иногда выворачивали из проруби верши для ловли рыбы. И маленькие рыбешки трепыхались на льду, подпрыгивали, широко разинув рты. От холода они постепенно ослабевали и замерзали. Болото снабжало бедняков бесплатным топливом – камышом, который связывали в тугие вязанки и тащили домой на салазках или просто на плечах, заметая камышевыми пушистыми метелками дороги. Летом же болото было всеми забыто. Только лягушки там по

вечерам устраивали свои замечательные концерты, да иногда поезд с перерезающей болото железнодорожной линии нарушал тишину своими тяжелыми вздохами. Железная дорога уползала, как змея, в темную сень лиственного леса. А у насыпи между болотом и лесом, подобно грибам на яркой сочной зелени луга, белело несколько мазанок.

В одной из них жил Сережа. Теперь он бежал из города по шпалам домой, насвистывая весело что-то себе под нос. Ему было радостно на душе и от хорошей погоды, и от новоприобретенных носков, и от сытного обеда в комендатуре, и от того, что оберст называл его "Венским певцом". Сбежав с насыпи и перемахнув через забор, Сергей очутился у своего дома. Дверь оказалась запертой. Он постучал и прислушался; внутри послышалась какая-то возня, потом шаги, скрипнула задвижка и дверь отворила мать.

"О, это ты?.. " – прошептала она и на ее лице рассеялось выражение озабоченности.–"Заходи, заходи". И Сережа сразу заметил, что с матерью произошла необычайная перемена: ее всегда бледное лицо покрывал румянец, серые глаза восторженно блестели, а на устах играла счастливая улыбка. Она, казалось, помолодела на несколько лет.–"А у нас гость дорогой", – торжественно проговорила она. И тогда в кухню вышел худой, заросший черной щетиной человек с впалыми, лихорадочно блестящими глазами. И в этом человеке, одетом в потрепанную одежду с чужого плеча и напоминавшем бродягу или нищего, Сережа с трудом узнал отца.

"Папа!" – радостно крикнул он и бросился отцу на шею.

После первых минут опьяняющей встречи Сережа узнал, что отец с самой осени находился в плену под Киевом, чуть не умер с голоду, три недели тому назад бежал. В худой одежонке, пожертвованной ему по дороге какой-то сердобольной старушкой, ему приходилось днем спать на сеновалах или зарываться в стоги соломы, а ночью пробираться через леса и овраги, обходя дороги и поселки.

Мать тут же заставила Сережу поклясться, что он никому ни словом не обмолвится об отце.

Только во время ужина она заметила Сережину обновку.

"Откуда это у тебя немецкие носки?!" – перепуганно воскликнула она. – "Ведь из-за них тебя могут расстрелять. Кто-нибудь увидит – донесут".

"Я их не украл", – обиженно заявил мальчик.

"А где же ты их взял? На улице их нашел, что ли?"

Сережа подробно рассказал о своем сегодняшнем приключении. Родители слушали внимательно.

"От немцев добра не жди", – сказал угрюмо отец, когда Сережа кончил свой рассказ.

"Не ходи больше в комендатуру. Ни ногой. Слышишь !" – грозно предупредила мать.

Но, вопреки запретам родителей, Сережа украдкой продолжал посещать комендатуру. Там его всегда ожидал вкусный обед. Немцы совсем не казались ему ужасными, как о них говорили родители. Наоборот, солдаты его любили и баловали конфетами и пряниками. Немецкий язык он схватывал быстро и уже в скором времени мог на нем довольно свободно изъясняться. Сережа совсем подружился с оберстом, которому он часто пел песни и с которым делился всеми своими детскими новостями. Мальчику так хотелось рассказать немцу свою радостную тайну о возвращении отца, она так часто уже, казалось, висела на самом кончике языка, но, вспомнив клятву, данную матери, он в последнюю минуту удерживался.

А мать, заметив продолжавшуюся связь сына с комендатурой, в отчаянии всплеснула руками:

"Боже мой! Боже мой! Смотри еще негодный мальчишка отца погубит".

Отец же, скрывавшийся у кого-то на чердаке и приходивший домой только иногда по ночам, больно выдрал Сережу за непослушание. Но вскоре все переменилось – отец совершенно перестал навещать дом; мать о нем не вспоминала ни словом... Только Сережа стал замечать ее необыкновенные приготовления: сушились сухари, в узелки аккуратно завязывались продукты... а раз Сережа проследил мать, шедшую к болоту, где она села в челнок и, оттолкнувшись веслом, отчалила от берега. Уже темнело и лодка вскоре исчезла из вида, но мальчик догадался обо всем: отец прятался на острове, расположенном в самой глухой части болота. Зимой дети, даже самые отважные из них, хотя и имели туда доступ, боялись к острову приближаться. Ходили слухи, что там водится "нечистая сила", которая иногда взвивалась столбом дыма над болотом, а ночью кто-то видел, как по острову ходил светящийся призрак. Весной после разлива там нашли распухший и посиневший труп утопленника. Летом же остров стоял всеми забытый, так как к нему добраться даже на лодке было трудно из-за зарослей камыша и осоки. Поэтому жители города его называли просто "Забытым".

Вот на этом-то острове и был отец, а мать возила продовольствие – понял мальчик.

Однажды оберст Штольц решил ехать на охоту и взял Сергея с собой. Для этой цели было выбрано болото, изобилующее утками. Лодка бесшумно подвигалась в прогалинах между камышами. Сергей, сидя на носу лодки и спустив босые ноги в прохладную воду, зорко смотрел по сторонам. Оберст расположился на корме с ружьем наготове.

"Вон опять, смотрите!" – взволнованно крикнул мальчик, заметив поднявшуюся невдалеке утку, которая не спеша удалялась от них, словно плыла по лазури безоблачного неба. Грянул выстрел. Утка, сложив крылышки, стремглав понеслась вниз и исчезла где-то совсем близко за зеленью. Начались долгие поиски, так как камыш затруднял передвижение. Лицо оберста от волнения и напряжения побагровело и покрылось каплями пота.

"Доннерветтер!" – наконец выругался он, – "пожалуй, так мы сегодня ничего не привезем домой". Это была уже вторая утерянная утка, и неудачи стали его раздражать.

"Кнюппель, езжай вон туда", – неожиданно сразу повеселевшим голосом скомандовал оберст, – "будем стрелять уток над землей", – указал он на призрачно темнеющий в стороне Забытый остров, над которым в этот момент кружились две утки.

"Туда не надо! Туда не надо!" –вырвался из груди Сергея вопль протеста. У него в голосе было столько страха и мольбы, что даже флегматичный Кнюппель посмотрел на него с удивлением.

"Почему же туда не надо?" – с любопытством спросил оберст.

"Там... водится... нечистая сила", – сбивчиво объяснил мальчик. – "Она топит людей. Их иногда находят на острове... синих, раздутых..." Но Сергей сейчас меньше всего думал о нечистой силе, он думал об отце, прячущемся где-то в зарослях на Забытом. Несмотря на то, что мальчик еще совсем недавно по своей собственной инициативе намеревался открыть свой секрет оберсту, теперь его охватила паника и он за всякую цену решил уговорить своего немецкого друга не высаживаться на Забытом острове.

Чем ближе подвигалась лодка к острову, тем больше Сергей нервничал и крутил пуговку своей рубашки. Вскоре, вырванная "с мясом", пуговица упала на дно лодки.

У берега охотников встретили новые препятствия: водоросли, перемешанные с ряской, опутывали дно лодки, замедляя ее ход и даже останавливая. Приходилось веслами прочищать дорогу. Когда, наконец, лодка причалила к берегу, оберст бросил Кнюппелю:

"Ты пойди осмотри остров, да возьми ружье с собой".

Солдат, набросив цепь лодки на корягу, скрылся в густых лозах.

"А мы с тобой поищем здесь вблизи хорошую лужайку для отдыха", – предложил оберст мальчику.

Но Сергей не двигался и дрожал всем телом.

"Какой же ты, право, трус", – разочарованно проговорил оберст и сам, выпрыгнув из лодки, также скрылся в зарослях.

У Сергея мысли работали лихорадочно. Его внимание приковало прислоненное к сиденью ружье. Он пересел с носа лодки на сторону и налег на один край. Неустойчивая плоскодонка качнулась. Он налег на борт еще больше. Лодка черпнула воду, но не опрокинулась. Теперь Сергей работал изо всей силы, поочередно налегая то на один борт, то на другой, и, когда лодка получила большой размах, он всем своим небольшим телом навалился на край лодки и перевернул ее. Мальчик пошел ко дну. Раскрыв глаза в воде, он увидел, как под ним в темноту погрузилось ружье и, еще раз тускло блеснув, его оторванная металлическая пуговка. За ними, пуская пузыри, медленно последовала корзинка с провизией. Сергей сделал сильный взмах руками вверх и, очутившись на поверхности, жадно набрал в легкие воздуха. Он усиленно греб под себя воду, но водоросли, как змеи, обвивали все его тело, ряска налипла на его веки и вместе с гнилой водой лезла ему в рот. Страх стиснул его сердце.

"Помогите!" – крикнул он. – "По-мо-ги-те!" – Вода, в которой он всегда чувствовал себя как дома, отказывалась его держать, и он барахтался, словно беспомощный щенок, а потревоженные корни водорослей, стремясь на свое место на дне болота, тянули за собой стебли и запутавшегося в них Сережу. Над ним опять сомкнулся толстый слой воды. Он боролся отчаянно и ему еще раз удалось вынырнуть. Мельком он увидел, как оберст на берегу поспешно сбрасывал сапоги... но утопающего снова поглотила вода, она была темная и вязкая и лезла в горло...

Очнулся он уже на берегу на траве. Кнюппель возился возле него на коленях и с легким упреком говорил своему начальнику:

"Хорошо, что я подоспел вовремя. Ведь вы же сами могли утонуть, херр Оберст. Разве можно рисковать так легкомысленно своей жизнью!"

Оберст Штольц неподвижно сидел на старом пне, бледный и мокрый, и откашливался, – как видно, спасая мальчика, он сам хлебнул немало воды.

Происшествие с Сергеем все испортило – и настроение, и пикник. К тому же, было утеряно и охотничье ружье оберста, найти которое в этом иле на дне не удалось. Решили немедленно возвращаться.

"Извините, что из-за меня пропала охота", – с искренним сожалением в голосе сказал Сережа.

"О, пустяки, мой "Венский мальчик", – потрепал его по плечу оберст. – "Для меня было долгом чести спасти моего маленького друга".

Сережа, несмотря на угрозы и упреки матери, стал в комендатуре завсегдатаем. В разговоре со своими друзьями на улице он иначе не называл коменданта, как "мой оберст". Вместе с солдатами он часто распевал немецкие песни. Ему особенно нравилась одна из них:

"Ауф дер Хайде блют айн кляйнес Блюмляйн,
Унд дас хайст Ерика..."

Оберст иногда, усадив Сергея против себя за стол, разговаривал с ним, как со взрослым, о своем городе, о своем сыне, который был где-то в Африке, и о том, что Третий Рейх должен победить, так как "у немцев хорошая организованность и дисциплина, спасающая от анархии". Мальчик не понимал, что такое "анархия" и многое другое, но был прилежным слушателем, и поэтому разговоры на эту тему велись часто. Слово "бефель" – приказ – беспрестанно употреблявшееся оберстом, представлялось Сереже уже чем-то материальным, тяжелым, как какой-то огромный движущийся винт, проходящий через громадную гранитную скалу, называющуюся "Третьим Рейхом".

В конце июля мать перестала ездить на Забытый. Почти в одно и то же время исчезли два молодых парня и сосед, последние представители мужского населения слободки. А вскоре

начали поговаривать о партизанах... Лес бесконечный и густой. Кого только не укроют под своей сенью мощные дубы. Громадные ясени шепеляво шепчут своими листочками над небольшими озерами. И бересты сплелись с кленами своими могучими ветвями, словно обнимаются удалые рыцари. Немецкие отряды регулярно "прочесывали" леса, но разве "прочешешь" всю лесную чащу, скрывавшую и зверя, и людей. Облавы ничего не давали. И после каждой из них мать Сергея облегченно вздыхала. А партизаны с каждым днем становились все смелее. Они не только нападали на автоколонны, проходившие через лес, но даже занимались саботажем в самом городе.

Незаметно подполз сентябрь. Однажды ночью Сережа, проснувшись, услышал какие-то взрывы. Они доносились из лесу. В промежутках между ними слышалась ружейная перестрелка, иногда резко и коротко строчил пулемет. Мать в эту ночь не сомкнула глаз. Она выбегала несколько раз во двор и, прислушиваясь, смотрела туда, где над лесом полыхало зарево, или, не зажигая света, неподвижно сидела у стола и ее бледное лицо призрачным кругом вырисовывалось в слабых лучах молодого месяца.

На рассвете, когда все уже утихло, к ним забежала взволнованная соседка:

"Партизаны пустили под откос немецкий поезд с амуницией", — сообщила она.

Этот ужасный день выдался солнечный и прохладный. В полдень в поселок явился отряд немцев. Солдаты окружили слободку и всех жителей ее стали сгонять на луг за домами. Дети плакали и тянулись за материнскими юбками. Немцы подталкивали медлящих прикладами в спины, кричали, сердились, бранились. Люди боязливо сбились в кучу. Кроме женщин, подростков и детей, там были две старушки и один старик. Сережа стоял рядом с матерью. Он присматривался к немцам, но не находил среди них ни одного знакомого лица. Хотя на солдатах были зеленые униформы, такие же, как и у тех из комендатуры, но на пилотках у них красовался череп. Сергей знал, что это СС. Он пытался завести разговор с одним из солдат, но тот ему не ответил. Вскоре появился со своим отрядом "его оберст". Их взгляды на одну секунду встретились, но Сережа ничего не сумел прочесть в глазах своего друга.

Сережа волновался. Может быть, оберст его не узнал – надежда опять озарила ум мальчика.

"Херр Оберст!" – громко крикнул он и бросился к своему другу. Но солдат СС, преградив ему дорогу, грубо ударил его кулаком в лицо. Пораженный мальчик затих. Детское сердце сжалось от страха. Он не понимал, почему оберст... почему же оберст за него не заступается, когда его так жестоко обидели. Женщины и дети возле него плакали, но это все Сергей видел как во сне. И, как во сне, он слушал эсэсовского офицера, читавшего "Бефель", который затем переводил переводчик Кнюппель из комендатуры и в котором несколько раз повторялось слово "расстрел".

Но Сережа не следил за словами, не вникал в их суть. Болел разбитый нос, и эту боль заглушала боль обиды. Слово "приказ" звенело в его ушах. "Бефель", как винт, вкручивался в его раненое сердце. И ему вдруг стало ясно, что оберст за него не заступится.

Потом раздалась команда, и их погнали, как стадо овец, в направлении оврага. Сережа шел не оборачиваясь. Он мрачно, глотая слезы, смотрел себе под ноги, где на неразъезженной дороге кое-где ползали дождевые черви в поисках мягкой земли, чтобы спрятаться. На траве местами еще дрожали и переливались на солнце бусинки росы. Сережа был бос. Мокрая трава ему студила ноги, его знобило, но он на это не обращал внимания... А оберст смотрел вслед удаляющейся группе людей под конвоем, и его взгляд был пуст, без эмоций. Он не изменился, когда наткнулся на мрачный взгляд Кнюппеля, не изменился он даже тогда, когда за рощей в овраге раздались пулеметные очереди, которые, жестко прорезав тишину, пронеслись над густым камышом болота и, отдавшись протяжным эхом над Забытым островом, заглохли в черной непроходимой лесной чаще.

УЛИЦА ДЕЙВИ

Городское управление, как искусный портной, беспрестанно перекраивает, переделывает и изменяет лицо города. Там, где еще недавно были утлые хижины, теперь гордо возвышаются стеклянные небоскребы, а на месте старых магазинов и ресторанов, в которых раньше совершали убийства знаменитые гангстеры, вырастают корпуса красивых жилых зданий. Большие изменения произошли и на улице Дейви. Она когда-то была типичной улицей американского города: длинная и прямая, с белыми двухэтажными домами типа "колониал", обсаженная по обеим сторонам роскошными кленами, образующими тенистую аллею. Но и этой тихой американской улице пришлось кануть в вечность. На ее месте город запланировал автостраду. После этой "ампутации" от всей улицы остались только два дома. В них жили наши соотечественники.

Вильшины и Глуховы – давние соседи. Еще после войны в Германии обе пары, будучи тогда молодоженами, получили по комнате в одном бараке, а в Америке, заработав деньги, купили дома один против другого. Это были, что называется, барские особняки: с каминами в гостиных, с коврами от стены до стены и с тремя спальнями на втором этаже. Все как полагается – зажили люди по-культурному. И гаражи есть, и большие газоны, по которым от дерева к дереву перебегают белки, наэлектризованно трепеща хвостами.

Петра Ивановича и Бориса Васильевича и водой не разольешь. Их соединяла дружба крепкая, непоколебимая. Все среди русских знали об этом и, когда, например, друзья на собрание приходили вместе, замечали: "А вон улица Дейви явилась" или "Ну как, улица Дейви идет с нами на бал?"

Петр Вильшин – плечистый, мускулистый, с густыми темными бровями и редеющими русыми волосами, всегда с улыбкой на крупных губах. Борис Глухов – пополнее, флегматичный и неповоротливый, со славянским скуластым лицом и с копной седеющих, словно заиндевелых волос.

У Вильшиных был сын Шурик, в описываемое время оканчивавший гимназию. Жизнерадостный, русоволосый, стройный юноша с наивными карими глазами, он весь пошел в отца наружностью и нравом. Глуховых же осчастливил Господь двумя дочерьми: Верочкой, ровесницей Шурика, и младшей на год Лялечкой – миловидными брюнетками с ямочками на розовых щеках и с лукавыми искорками в серых лучистых глазах. Молодые люди тоже дружили с самого детства. И это было вполне естественно, принимая во внимание добрососедские, чуть ли не родственные отношения родителей. Вильшины и Глуховы постоянно собирались на досуге то в одном, то в другом доме. Женщины, обе крашеные блондинки и модницы, любили почесать языки на кухне о том, о сем. В это время молодежь пила "соду" и отчаянно хрустела жареной кукурузой возле телевизора в подвале, а мужчины в гостиной, дымя табаком, вели оживленные разговоры. Излюбленной темой у них, наряду с литературой, была политика, и тогда атмосфера накалялась так, что даже флегматик кричал и стучал кулаками. Необходимо упомянуть, что Глухов был ярым республиканцем-ястребом, а Вильшин – демократом-голубем. Но всегда у добрых соседей благоразумие брало верх. И в большинстве случаев демократ, похлопав своего оппонента по плечу, замечал:

"Нечего ссориться. Мы – культурные люди. В этом нам нужно отдать справедливость."

"Да будет мир!" – соглашался республиканец.

* * *

Петр Иванович считал себя представителем современных прогрессивных родителей, глубоко понимающих проблемы молодого поколения. Он верил, что отношение детей к родителям не должно быть основано на страхе и раболепном, слепом повиновении. Он поэтому очень гордился тем, что у него с сыном установились простые приятельские отношения, словно бы оба принадлежали к одному поколению. В разговорах между отцом и сыном не существовало запретных тем, на которые накладывалось бы табу. Они могли говорить, как равные, о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами и о других щекотливых вещах. Подобный либерализм не мешал отцу

ставить сына на место, когда этого требовали обстоятельства. Он давал ему должную нахлобучку, а в младших летах не обходилось даже и без тумака. При этом Вильшин говорил:

"Мы – люди свои, сочтемся. Я – отец, я должен тебя учить, но никому другому не разрешу дотронуться даже до волоска на твоей голове. В обиду тебя никому не дам!"

Некоторые нововведения он не поощрял, не хвалил, но проявлял к ним терпимость.

Борис Васильевич, напротив, был закоренелым консерватором и открыто возмущался всем, расходящимся с его убеждениями и давними привычками.

"Ей-Богу, молодежь в Америке с жиру бесится", – возмущался он в первые годы жизни на новом континенте. – "Чего только стоят эти девки. В 12 – 13 лет рожу, как клоуны, разукрашивают. Волосы торчком взбивают. Не разберешь: голова это или воронье гнездо".

На это Петр Иванович замечал: "Конечно, в 12 лет рановато, спору нет. Но в отношении мод ты неправ. Если своим не позволишь так одеваться, как ходят другие, над ними их сверстники будут насмехаться".

"Ни в коем случае не разрешу этого своим", – яростно вертел головой Борис Васильевич. – "Никаких красок или помад! Как Бог сотворил, так и будет".

И действительно, его дочери ходили со скромно заплетенными тугими косичками, и их не нуждающиеся в подкраске губы не имели и признака помады.

* * *

Время наматывало на невидимую катушку дни, недели, месяцы, годы. Менялись вкусы и моды. Девушки перестали краситься. Одно время употребляли даже белую губную помаду, что придавало лицу мистический, призрачный вид. А волосы больше не взбивались, не завивались – их носили распущенными, как наша прапрародительница Ева. Но и этот стиль не коснулся семьи Глуховых. Когда девочки уже кончали гимназию (старшая даже собиралась ехать в колледж в Охайо), они по воле отца все еще ходили с косичками и их юбчонки оставались не по моде длинными, хотя женскими сердцами завладели "мини-юбки" и синие джинсы. Шурик же щеголял в заплатанных и потертых джинсах с махровой бахромой на шта-

нинах. Волнистые золотистые волосы ниспадали ему на плечи – им позавидовала бы любая девица.

Последнее время Шурик особенно зачастил к Глуховым. Несмотря на свои немодные косички, очаровательная Верочка не давала ему покоя. Борис Васильевич косился на юношу, морщился и после его ухода читал нравоучения дочери, заканчивая их так:

"Ты с ним того... не очень. На кого он похож. Сзади посмотришь – не парень, а девица".

Однажды он принялся поучать Шурика в присутствии Петра Ивановича:

"Ну что это за брюки - и материал поганый, словно выцветший. И гляди: сам латки наложил, да и в неприличном месте (он не знал, что это была работа его Верочки), вроде нищего. Позор и срам! Сбрось их. И свои дурацкие патлы обрежь"!

"Оставь его в покое," – заступился Петр Иванович за сына. –"Каждый имеет право одеваться, как он хочет. А разве дело в волосах? Важнее, что под волосами. Он же парень умный, выйдет в люди."

* * *

Короткая американская весна налетела решительно, как бы опасаясь, что лето не оставит для нее достаточно времени. И ее парниковое тепло проникло с потоками дождя глубоко в землю. Забурлили соки в сонных деревьях. Сначала зацвели японские вишни и магнолии, потом догвуд; за ним распустился"ханисакл"со своим медовым запахом, пленяющим рои пчел. Весна – пора любви. Не миновала она и улицы Дейви: Верочка и Шурик неожиданно объявили о своем желании обручиться.

Борис Васильевич сразу рявкнул категорически жене:

"Ни в коем случае! У него еще и молоко не обсохло на губах, куда там ему семью прокормить!? Да и вообще не собираюсь отдавать свою дочь за патлатого".

Но жена стала на сторону дочери.

"До женитьбы еще далеко", – возразила она.

"Они могут быстро пожениться. Да еще и дети пойдут. Что ж, прикажешь, мне всю эту банду на иждивение брать?"

"Почему мы? Пусть Вильшины нашу содержат, если их сын не в состоянии. Рассуди сам," – увещевала его жена, – "может быть это и к лучшему. Девчонка куда-то в Охайо едет учиться, нас там не будет. Кто присмотрит за ней? Знаешь, как молодежь себя ведет вдали от родительского дома. А так Шурик – первая Верочкина любовь, – она на другие соблазны там и не глянет. Будет домой приезжать, с Шуриком встречаться. Так мы их здесь уж доглядим. А если бы позже и поженились, так и что же – ведь он инженером будет."

На рассудительные доводы жены Борис Васильевич не мог ничего возразить. Он с помолвкой как бы даже помирился, но не с волосами жениха.

"Ай-ай-ай! С патлами породнимся. Какой ужас!" – Он тряс головой и его полуседая шевелюра колебалась, как буйная трава.

* * *

Лето катилось по зеленым холмам Нью Джерзи. Приближался день обручения. Уже разослали приглашения и заказали зал в ресторане. Стояла прекрасная погода, когда синева небес прозрачна и девственна, и ни одной тучки на горизонте. Это была суббота и все наслаждались солнцем, теплом и отдыхом.

Петр Иванович собирался переделать полки в гараже и послал сына за электрической пилой к Глуховым, и так как тот долго не возвращался, ходил по кухне и нервничал.

"Вот день проходит, а я еще ничего не сделал," – жаловался он жене. -"Не иначе, как Шурка с Веркой там любезничает, а мне жди..." Он уже стал набирать номер телефона соседей. Но вдруг открылась входная дверь и на пороге появился Шурик. Родители повернулись к нему и на их лицах выразилось крайнее недоумение. Шурик был бледен, губы его дрожали, а главное–куда девались его кудри? Его волосы были подстрижены коротко по-военному.

Петр Иванович стоял несколько минут оторопело, но, наконец, все понял и крепко сжал кулаки.

"Как он только смел это сделать!" – крикнул он. – "Пойдем!" – скомандовал он сыну и сунул ему лежавшие на кухонном столе ножницы в руки.

У соседей, кроме Бориса Васильевича, никого не было дома. Он в кухне сметал на совок русые длинные волосы, которым бы позавидовала каждая девушка.

"Прячешь улики своего преступления!"– гаркнул на него Петр Иванович. –"Не трудись напрасно. Уберешь позже и свои заодно. Садись!"

Вильшин подтолкнул к нему грубо табуретку.

"Да что ты, что ты, Петя! Я лишь добра желал твоему сыну". – Он отчаянно упирался и отбивался, когда Вильшин, более сильный и поворотливый, тянул его к табуретке. А потом, чтобы окончательно сломить сопротивление, Петр Иванович, дав подножку, повалил Бориса Васильевича и после короткой борьбы оседлал его, как коня. Пригвоздив его руки к полу, он повелительно крикнул сыну: "Стриги его!"

И когда юноша в замешательстве продолжал стоять перед распятым на полу своим будущим тестем, отец повторил ему строго: "Стриги! Око за око, зуб за зуб. Недаром я когда-то поклялся, что никому не разрешу дотронуться даже до волоска на голове моего сына".

Голова Глухова заерзала по линолеуму, раздалось какое-то неясное мычание, но с одной головой парень мог легко справиться и первые пряди обрезанных полуседых волос присоединились на полу к русым кудрям Шурика.

Вильшины, завершив свое дело, выходили из кухни на залитый солнцем двор торжественно, с видом победителей, оставляя за собой стонущего Глухова.

* * *

Два друга поссорились навсегда. Они, увидев один другого во дворе, как по команде, отворачивались, а когда встречались случайно на улице, один из них, как ошпаренный, перебегал через дорогу. Где было место для одного, там не было места для другого, как будто в их лексиконе никогда и не существовали такие слова, как "рассудительность, прощение, раскаяние".

Госпожа Глухова с дочерьми целую неделю не разговаривала с мужем, считая его виновником разрыва добрососедских отношений. Верочка и Лялечка в знак протеста расплели

свои косы. Отец подавленно молчал под гнетом всеобщего бойкота. Жены, из солидарности с мужьями, при встречах тоже не разговаривали. Только молодежь не обращала внимания на вражду своих родителей. Правда, официальной помолвки не состоялось, но молодые люди в один из вечеров под сенью тенистого клена на улице Дейви поклялись друг другу в вечной любви, и Шурик надел девушке на нежный пальчик дешевенькое колечко. Теперь Верочка часто бегала на свидание к своему неофициальному жениху, и ветерок играл каскадами ее темных и густых, как тонкий шелк, волос. Вскоре и женщины, когда мужья не бывали дома, стали опять встречаться.

"Вот тебе и история!" – вздыхали они, вспоминая старые хорошие времена и дни дружбы, времена, когда обе семьи нельзя было разлить и водой.

ВОЛШЕБНАЯ МАШИНА

Река резво и свободно змеится по равнине через ивовые рощи, душистые луга и поля. Иногда она пересекает чистенькие местечки и поселки с зелеными двориками. Но у самой дельты она проползает осторожно, словно через ворота, между каменно-бетонными набережными города, шумного и пыльного. Этому городу уже триста лет и он, как разлагающийся старик, зловонно дышит в небеса автомобильным перегаром и едкими фабричными газами. Он извергает машинное масло и свои нечистоты через каналы и трубы в реку, убивая в ней все живое. Улицы закованы в асфальт и бетон; на них уже много небоскребов, как бы состязающихся в гонке в высоту. Здесь большинство населения – негры. В противоположность Европе, где центры города населены богатыми людьми, а беднота вытесняется на окраины, в Америке как раз наоборот: зажиточные люди бегут на тихие и зеленые окраины, а в центрах живет беднота. Двух- и трехэтажные здания кишат жильцами, как муравьями. Люди мирно сосуществуют с тараканами, клопами и крысами в квартирах липких от грязи и коридорах полных мусора.

В одном из таких домов-трущоб жил черный семилетний мальчик Джим со своей матерью - вдовой. Он был красивым и рослым ребенком с темно-шоколадным цветом кожи и смышленными громадными глазами. Джим знал, что он красив, – об этом все ему говорили. Он был доволен своей жизнью в квартире, состоящей из одной комнаты и кухни с громоздкой чугунной печкой для угля. Свободное время он проводил в школьном заасфальтированном дворе, огороженном высокой алюминиевой сеткой, или на грязной улице, запруженной автомобилями. Белых людей он видел только днем – они проходили возле магазинов или проезжали в машинах. Джим был счастлив в этом знакомом ему "черном" мире; мать его обожала, а соседи любили. У него не было ни нужды, ни желания в какой-либо перемене, но одно происшествие совершенно изменило его жизнь и перевернуло все его понятия.

На соседней улице остался еще один двухэтажный домик, точно островок в черном море, где жили две белые семьи. Однажды, играя на улице, Джим нечаянно забросил мяч во двор этого "белого" дома. Мальчик полез через забор и остановился в изумлении: в маленьком садике возле куста персидской сирени стояла девочка с нежными льняными волосами и с чудесными голубыми глазами. Она с любопытством глядела на него, а в руке держала его мяч. Джим забыл зачем он пришел и, выпучив свои черные глазищи, смотрел на нее, как на привидение.

"Это твой мяч?" – спросила девочка.

"Мой", – кратко ответил он.

"Возьми", – она протянула ему мяч.Точно завороженный, он подошел к ней, не спуская с нее глаз.

"Как тебя зовут, мальчик?" – спросил прекрасный призрак и улыбнулся.

"Джим", – ответил он.

"А меня – Пегги".

"Ты здесь живешь?"

"Да, а ты где?"

"На другой улице"... Ты любишь книги с картинками?" – неожиданно спросил он.

"Люблю", – сказала девочка.

"Так я тебе принесу".

"Хорошо".

"Джимми! Джимми! Где же ты пропал?" – послышались нетерпеливые голоса его ровесников с улицы, и он очнулся от своего дивного сна.

"Завтра я приду в это же время," – сказал он девочке и с мячом перемахнул через забор.

С этого дня Джим стал завсегдатаем у Пегги. В садике со скрипучей скамеечкой возле старой покосившейся веранды они вместе рассматривали книжки с картинками и ели леденцы, принесенные Джимом. Эти леденцы он покупал за деньги, которые мать в воскресенье давала ему на мороженое, – он отказывал себе в этом лакомстве, чтобы после порадовать белую как бы прозрачную девочку. Он гордо вынимал угощение из кармана и предлагал ей, своей принцессе. Он называл

ее "принцессой", так как она была похожа на девочку из сказки, рассказанной ему матерью, и Пегги это обращение к ней очень нравилось.

"У меня отца нет", – сказала девочка. – "Два года тому назад он убился в машине."

"И у меня нет", – сказал он. –"А мать?"

"Мать работает на фабрике. Скоро у нее будет отпуск. И ты тогда с ней познакомишься. У меня очень хорошая мама. Она тебе понравится."

* * *

На следующей неделе дети, как всегда, играли в садике, когда высокая женщина с такими же льняными волосами, как у "принцессы", появилась на веранде.

"Иди сюда, Пегги!" – позвала она девочку.

"Идем, я тебя познакомлю с мамой," – прошептала "принцесса", взяв в свою белую маленькую ручку его шоколадного цвета руку, и потащила мальчика к веранде. Ее личико с аленькими щечками и ямочками мило улыбалось.

"А вот и Джим", – представила она его матери.

"Хау ду ю ду!" – застенчиво сказал мальчик.

Доброе и ласковое выражение сбежало с лица женщины, заменившись выражением удивления. Но затем все ее лицо покраснело от гнева.

"Не смей с ним больше играть!" – истерически завопила она. –"Не смей! Слышишь?"

Рука Джима выпала из рук девочки, а мать уже грубо толкала дочь в дверь кухни. Пегги заплакала. Мальчик был словно поражен громом. Он прислушивался к всхлипыванию своей "принцессы" за дверью и резкому визгливому голосу ее матери:

"Чтобы его ноги больше не было в нашем саду".

О, как он ненавидел эту высокую бледную женщину. Джим со злобой беспомощно сжимал свои кулачки и все еще стоял на том же месте, когда женщина возвратилась на веранду. Она взяла его за руку и молча повела к калитке, которую открыла ключом, и, легонько толкнув его в спину, строго сказала:

"Больше не приходи сюда, черный мальчик!"

И он, не оборачиваясь, не останавливаясь ни разу после этого толчка, как по инерции дошел до своего дома. Его маленькое сердечко разрывалось от обиды, но он не плакал. Хотя белая женщина ему не сказала, что она запрещает "прицессе" играть с ним из-за цвета его кожи, но он это понял и, пришедши домой, долго смотрел в зеркало на свое коричневое лицо. Мать, возвратившаяся с работы, застала его за этим занятием.

"Чего это ты в зеркало смотришь, сынок?" – удивленно спросила она.

"Мама! Могут белые люди превращаться в черных, а черные в белых?"

"Белые от солнца чернеют", – рассеянно проговорила мать, вынимая из холодильника салат и мясо.

"А черные на солнце?"

"Еще больше чернеют".

"Черные никогда не превращаются в белых?"

"Никогда", – ответила мать. – "Кто кем рожден, тот тем и останется до конца своей жизни".

В следующие дни на мальчика часто находило меланхолическое настроение. Его тянуло к "принцессе". но теперь посещать ее было невозможно. Только раз, проходя мимо, он ее увидел на крыльце ее дома, где она сидела со своей куклой. Когда она его заметила, ее личико оживилось радостью.

"Джимми!" – крикнула она, но потом сразу как-то вся съежилась и притихла.

"Твоя мать дома? "– спросил он.

"Да, дома. Она мне не разрешает играть с тобой", – с грустью сказала девочка.

"А если бы я был белым, разрешила бы?"

"Да! Разрешила бы", – кивнула Пегги своей хорошенькой головкой.

И хотя Джимми не стыдился цвета своей кожи, но все же неожиданно захотел стать белым ради дружбы с "принцессой".

Казалось, что для Джима не было выхода из положения. Все его существо охватило желание опять увидеть свою прекрасную прозрачную подружку, но ее мать разрешила бы ему

играть с ней только, если бы он был белым. Белым же он никогда не мог стать. И он ходил мрачный и угрюмый, пока один случай, никак не относящийся к его знакомству с "принцессой", не вселил в него новую надежду...

Играя в школьном дворе в футбол со своими сверстниками, он ловко схватил мяч и побежал с ним к воротам противника, чтобы забить гол, но вдруг споткнулся и упал на асфальт. Сзади налетели мальчики; не ожидая его падения, они повалились на него, и один из них во всеобщем азарте сильно ударил Джима в лицо. Потекла кровь, и мать, наспех перевязав рану, потащила сына к врачу, где ему наложили швы. Рана плохо заживала.

Врач в белом халате и в очках сказал матери:

"Ваш сын имеет наклонность к образованию келоидов".

"Это что такое?" – тревожно спросила женщина.

"Келоид – это, другими словами, дикое мясо. Оно образуется, когда ткань тела после ожога или ранения ненормально -бурно растет."

"Это рак?"– совсем испугалась мать.

"Нет, келоид сам по себе не злокачествен, но бывали случаи его превращения позже в рак. А вообще же некрасиво, если у мальчика на лице образуется шрам. Чтобы этого избежать, необходима радиация, облучение."

"Когда же прийти к вам на это облучение?" – спросила женщина.

"На облучение я вас направлю в больницу. Пойдите туда завтра, а потом я вам опять назначу день."

"Нельзя ли все сделать сразу?.. Я ведь должна отлучаться с работы".

Доктор Волкер пытался объяснить малограмотной женшине простыми словами:

"Эти лучи целебные", – говорил он, – "но в большом количестве они приносят человеку великий вред, поэтому нельзя все сделать в один прием. Если их дать очень много, человек умирает. От усиленной радиации может образоваться рак. От нее также деформируются ткани, а потовые, слюнные и молочные железы прекращают функционировать."

"Вот как, вот как!" – повторяла негритянка в боязливом недоумении.

А Джим не слушал разговора матери с доктором, он был занят журналами с разноцветными яркими картинками.

* * *

Шрам облучался несколько раз, причем Джиму вокруг него закрывали лицо резиновыми пластинками со свинцовыми прослойками. Рана стала зарастать быстро, толстая ткань исчезала; сначала шрам лежал темно-розовой подковой – отпечатком каблука на щеке, но со временем стал светлеть. Так как шрам при облучении не покрывался резиновыми пластинками, мальчик, не понимавший ничего в пигментации кожи и заживлении тканей, приписывал это чудотворному действию машины.

Проходя однажды мимо больницы с матерью, он обратился к ней:

"Мама, мне осветили только шрам, и шрам побледнел", – указал он на свое лицо, – "а что случилось бы, если бы меня всего осветили лучами?"

"Только шрам нам стоил столько денег, а если бы всего тебя облучили, наверное, вышло бы слишком дорого", – машинально ответила мать, занятая своими мыслями.

"А превратился бы я в белого?"

"Как Бог создал, так мы и должны остаться", – уже раздраженно проговорила мать.

Джимми замолчал, но в душе он больше не верил, что "мы должны так и остаться, как Бог создал." Он теперь завидовал богатым людям, которые имели достаточно денег для облучения всего тела. И это было так просто – лишь нажать на кнопку. Солнце делает белых черными, а волшебная машина черных превращает в белых, – заключил он.

Джим, мысли которого последнее время постоянно были заняты волшебной машиной, при очередном визите доктора Волкера обнаружил в его кабинете кварцевую лампу, искусственное солнце, употребляемое в медицине для лечения. Его лучи, как известно, дают также загар. И хотя кварцевая лампа отличалась размерами и формой от больничной машины,

все же мальчик в обеих нашел что-то общее – они напоминали ему жирафа с тонкой шеей и большой головой.

"Для чего употребляют эту машину, мэ-эм?" – спросил он сестру милосердия.

"Для облучения, Джимми," – ответила она, потрепав его по курчавой головке.

"Она тоже изменяет цвет кожи?" – с трепетом спросил он опять.

"Да, изменяет цвет кожи", – подтвердила его предположение сестра.

Лишь первое мгновение он был удивлен:почему же доктор посылал его в госпиталь, если сам имеет подобную машину. Но на этом его мысли долго не останавливались.Он сразу решил, что это новое приобретение врача, так как раньше кварцевой лампы не заметил. Его же наивный детский мозг запечатлел только для него самое важное – обе машины были предназначены для облучения и обе меняли цвет кожи.

Свою "принцессу" Джим видел несколько раз издалека,но не решался подойти к ней, а она ему украдкой помахала ручкой. После таких встреч его сердце еще больше ныло. И каждый раз, когда он проходил мимо здания, где на втором этаже в окнах была вывеска "О. Волкер, М.Д.", его мысли неслись к чудовищной машине там, в кабинете.

* * *

Грозной волной прокатились по всей Америке расовые беспорядки. Толпы не повиновались закону – грабили магазины, нападали на полицейских и белых граждан. Пылали пожары; росло число человеческих жертв. В городе, где жил Джимми, вспыхнули также расовые беспорядки.

Это был жаркий июль, когда скудные пыльные листочки на нескольких деревьях в жалком сквере сворачиваются трубочками и каблуки вязнут в асфальте. При такой погоде люди прячутся в своих жилищах от жгучих лучей солнца, но в этот день толпы потных взволнованных негров стремились к главным торговым улицам, наполняя их своим бунтарским криком. Белые исчезли.Полицейские занимали удобные места на тот случай, если придется усмирять толпу.

Мать не выпускала маленького Джима на улицу, но ему

удалось после ужина улизнуть из дому. Он в трусиках и рубашонке босиком бежал по тротуару, удивляясь происшедшему превращению. Вблизи еще дымился после пожара магазин детской одежды. На асфальте лежали куски поломанной мебели и голые манекены. Никогда улица не была такой грязной от мусора, как сейчас. Негры носили какие-то пакеты. В отдалении слышались выстрелы. Джим, пробираясь между группами людей, воспринимал новые впечатления и был всецело поглощен ими. И вдруг на углу его внимание привлек докторский кабинет, в котором находилась волшебная машина. У входа зияла черной пустой дырой разбитая витрина соседнего магазина.

Мальчик, не раздумывая, юркнул в нее. Пробираясь сквозь хаос растоптанных и испорченных вещей, он направился через сорванную дверь к общему коридору, ведущему к доктору на второй этаж. Туда его влекла непреодолимая сила. Он шел медленно, с опаской, прислушиваясь к каждому шуму, доносившемуся с улицы. Вот и последняя мраморная ступенька. Он толкнул входную дверь. Она сразу подалась. В приемной, как и когда-то, было чисто и уютно – на сером ковре стояли кресла, на столах лежали журналы. Тяжелые гардины были опущены. Только в кабинете с широким письменным столом и этажеркой с книгами стеклянная дверь шкафчика для лекарств была разбита, и несколько баночек с таблетками лежало на полу.

И дикой радостью, словно острым копьем, пронзилось его сердце так, что он даже вскрикнул, как будто увидел своего старого знакомого, – у стены стояла, подобно ископаемому животному с согнутой шеей, машина для облучения. Он ее приветствовал улыбкой и, быстро сбросив рубашонку, повернул крутую шею чудовища. Сам он улегся на длинном столе, направил на себя кварцевую лампу и надавил на кнопку.

Лампа бросила на обнаженное тело мальчика свои невидимые и теплые лучи. Время от времени Джим ворочался, стараясь не пропустить неосвещенной ни одной части тела. Чем дольше будут прикасаться лучи к его коже, тем белее он станет. Иногда он смотрел на свою руку и ему казалось,

что она действительно уже начала светлеть. И под этим расслабляющим теплом лампы он стал засыпать, убаюканный радостным сознанием своего скорого чудесного превращения. Где-то вдали выли полицейские сирены, а ему снилась его "принцесса" – он с ней опять играл, и ее мать не гнала его больше, а наоборот, относилась к нему ласково и нежно.

Когда уже начало темнеть, один из гвардейцев заметил свет в кабинете врача и пошел наверх. Там он под ультрафиолетовыми лучами лампы обнаружил крепко спавшего Джима. Даже шоколадный цвет кожи негритенка не мог на его теле скрыть покрасневших вспухших мест. И вскоре автомобиль скорой помощи, визгом сирены разрывая на части улицу, вез в больницу опасно обожженного, стонавшего и метавшегося от боли мальчика.

ТРУС

(Во Въетнаме)

Американская база состоит из военных, выстроенных наспех бараков и широкой площадки для вертолетов. Она постоянно охраняется, так как опасность может прийти совсем неожиданно от реки, извивающейся голубой змеей через тропические джунгли и рисовые поля.

Виктор на посту. Он мерно с винтовкой наготове ходит у въезда на базу. Его шаги мягки и вкрадчивы из-за резиновых подошв. У него много времени для размышления, — одна мысль сменяет другую. Иногда он удивляется своей собственной судьбе. Он, юноша русско-украинского происхождения, до сих пор еще не имеющий американского гражданства, находится в армии во Вьетнаме. Чужая ему земля, чужая ему зловеще блещущая река и зеленая равнина, на краю которой возвышаются невысокие холмы. Сердце в тоске по далекому дому. "А что такое — мой дом и где он?" — думает солдат. При воспоминании о доме его воображение раздваивается: один дом, который он едва помнит из далекого прошлого, находится где-то в России, а другой реальный и осязаемый — в Соединенных Штатах, где его товарищи, с которыми он провел двенадцать лет за школьной скамьей...

Там по вечерам в лавке "Молочной Королевы" собиралась шумная ватага друзей. Пили "соду", ели мороженое, от удовольствия визжали длинноволосые девчонки, а по дороге домой курили. Возгласы, песенки Битлс, музыка рок-н-ролл... а тут все тихо, угрожающе и пугающе тихо. Над базой висит небо то ясно-голубое, то окутанное тяжелыми, свинцового оттенка тучами. Оно такое же как и во всем мире, но оно все же чужое, и под ним ужасно угнетает тоска.

С базы открывается вид на небольшую деревеньку. В ней всего восемь хижин, покрытых рисовой соломой. Деревянные хатенки от старости стали почти черными и глубоко ушли в

землю. Жизнь этой деревни проходит перед солдатами как на ладони.

Утром крестьяне идут обрабатывать рисовые поля. Это старики, женщины и подростки. Почти всех уцелевших мужчин в прошлом году увели с собой партизаны Вьетконга, пробравшиеся по реке и затем скрывшиеся тем же путем. В определенное время в деревне готовится скудная еда – над домиками поднимаются тонкие сизые струйки дыма. Роль тракторов там заменяют люди и серые водяные буйволы с сильными пологими рогами. Так как орудия труда у них примитивны, люди возвращаются с полей совсем изнеможенные. Их лица под большими, сделанными из пальмовых листьев шляпами, похожими на крыши буддийских пагод, кажутся еще желтее, чем утром, а глаза еще более раскосыми. Так они тянут лямку каждый день, так ходили их отцы и праотцы, так будут ходить и их дети. И за этот непосильный труд их ожидает скудное вознаграждение. Вьетконг забирает у них всю еду, – они сейчас голодают, но безропотно идут обрабатывать свои клочки земли.

Из всех крестьян особое внимание привлекает одна семья – старик, высокий, сухой, с реденькой бородкой и с лицом, словно из дубленой кожи, почти черным от годов, ветра и солнца. И кажется, что он такой же древний, как и сама земля, по которой он ходит. С ним две женщины. У старшей за спиной младенец. Она ведет за руку девочку лет пяти. Их спутница – тоненькая, совсем хрупкая девушка. Иногда при встрече с этой хорошенькой вьетнамкой кто-нибудь из солдат бросает ей конфету или плитку шоколада. Она улыбается, блеснув рядом жемчужных зубов. Своей восточной мимикой она старается выразить благодарность за подарок, но никогда не теряет своего достоинства, и если солдат хочет приблизиться к ней, она, словно пугливая серна, быстро удаляется.

В жаркие вечера Виктор часто выходит на прогулку около базы: все же лучше, чем сидеть в накуренном помещении барака, где все стены оклеены вырезками из журналов, на которых в разных позах изображены полуголые и совсем раздетые женщины.

Крестьяне возвращаются с полей. Навстречу солдату спешит, догоняя свою семью, молодая вьетнамка. За ней бежит, уныло опустив хвост, черный с серо-грязной полоской на груди пес. Девушка о чем-то думает, смотря себе сосредоточенно под ноги. Ее лицо печально, а между дугообразных бровей лежит маленькая морщинка. Вьетнамка в другом мире... И вдруг она поднимает голову вверх и прямо перед собой видит рослого светловолосого чужеземного солдата. В ее темных глазах появляется испуг, и она останавливается.

– Хэлло, – здоровается Виктор, стараясь показать свое дружелюбие. Но девушка продолжает стоять в окаменевшей позе. Солдат ей очень мило улыбается. Испуг постепенно исчезает.

– Твоя собака? – спрашивает по-английски Виктор. Девушка не понимает. Он направляет свой указательный палец сначала на пса, уже тоже подобревшего и подошедшего ближе, а потом на нее: – Твоя?

Она отрицательно мотает головой.

– Чья собака? – он указывает пальцем на удаляющихся по дороге крестьян: – Их?

Девушка опять качает отрицательно головой.

– Значит, приблудная, – вслух произносит Виктор. – О, тут они не избалованы, как в Америке, – заключает он по жалкому виду животного, которое сейчас виляет хвостом. – Но, как и дома, они здесь привязчивы. И очень благодарны за крохи. Собака – преданное животное, друг человека. Виктор даже старается эту мысль объяснить девушке. Ему кажется, что, когда он разговаривает, она его меньше боится. Она смотрит удивленно на солдата, произносящего чужие ей слова, а пес, наверное, интуитивно чувствуя, что говорят о нем, опять машет приветливо хвостом. Но все же на попытку Виктора погладить его, пес отбегает в сторону на безопасное расстояние.

– Трус, – замечает Виктор и уже обращается к девушке.

– Как тебя зовут? – спрашивает он и, чтобы было ей яснее, что он хочет узнать, показывая на себя, говорит:

– Виктор.

– Ви-ктор, – коверкая его имя, повторяет девушка. Он,

направляя теперь указательный палец на нее, перечисляет все известные ему женские вьетнамские имена:

– Вентилан, Тран, Нюэн?..

– Нюэн, – говорит она.

Потом они вместе повторяют поочередно свои имена:

– Ви-ктор... Ню-эн... – Им становится весело и они смеются. Она золотистым восточным хихикающим смешком, а он заразительным раскатистым хохотом.

Знакомство состоялось. Все получили свои имена. Он – Виктор, она – Нюэн, и верный их страж – Трус.

* * *

Мусор из солдатской кухни выбрасывается тут же, невдалеке от базы. Жители деревни собираются внезапно, точно стая голодных ворон. Они быстро, но внимательно роются в отбросах, выбирая все съедобное, и стараются не замечать проходящих мимо солдат, а солдаты отворачиваются от крестьян. Одним стыдно, что они бедные, голодные, а солдатам стыдно, что они сыты. Своей новой знакомой Нюэн Виктор никогда не видел возле военной кухни. Но ее старый дед иногда появлялся у мусорных куч. Не спеша, точно пахарь землю, он обрабатывал кухонные отбросы своими высохшими натруженными руками.

После людей на "пиршество" сбегаются собаки. Среди них крутится черный Трус. На него злобно рычит вислоухая паршивенькая дворняжка. Она бросается в атаку и отбивает у мирного Труса косточку. Трус отскакивает к дороге и от обиды и голода скулит жалобно и протяжно.

– Ты и действительно трус, – упрекает Виктор своего старого знакомого. Он вытягивает из кармана коржик, недавно присланный на Рождество матерью, и бросает его псу, который проглатывает лакомство и уже больше не сторонится солдата. Дружба между человеком и собакой заключена.

Утром Виктор опять встречает на дороге Нюэн. На этот раз она не пугается, не дичится его, а наоборот сама замедляет шаг, чтобы отстать от своей семьи. Они разговаривают несколько минут, хотя у них нет общего языка.

– Где ты живешь? – спрашивает солдат. – Который дом твой? – Он показывает сначала на себя, потом на базу, а после короткого перерыва на девушку, затем поочередно на отдельные хижины.

Нюэн сообразительна и сразу схватывает суть дела. Она указывает пальцем на крайнюю хибарку. Вечером, когда она возвратится с работы домой, ее будет ждать сюрприз: ее белобрысый солдат оставит за дверью ее хижины полхлеба, плитку шоколада и кусок сыра.

Когда Виктор встречает Нюэн следующий раз, ее глаза полны благодарности. Как много могут сказать человеческие глаза, чего часто не найдешь в словах. Теперь эта бескрайняя равнина и над ней это синее теплое небо уже перестали быть чужими случайному пришельцу из далеких неведомых краев за морем. Он будет вглядываться в даль — может быть на дороге покажется небольшая стройная фигурка. Девушка подойдет ближе, и ее алые губки расплывутся в приветливой улыбке.

* * *

Трус теперь регулярно посещает базу. Он отыскивает Виктора и, если тот чем-то занят, пес начинает лаять, чтобы обратить на себя внимание. За каждую ласку, за малейшее проявление доброты он платит взрывом собачьей радости — то безудержно визжит, то срывается с места и мчится по двору, описывая круги, то, как мяч, прыгает вверх, стараясь лизнуть своего друга в лицо. К другим же солдатам он относится с недоверием и избегает их.

Виктор — часовой. Трус лежит в отдалении на траве. Так они вдвоем последний месяц неоднократно проводят дежурные часы. Пес не навязчив со своими ласками, если видит в руках своего друга оружие. Он понимает своим собачьим рассудком и инстинктом, что это не время для забав. Человеческая забота и перемена в жизни сразу видны. Шерсть на Трусе стала гуще и лоснится, светлая полоса на его груди побелела, а в коричневых глазах отражается преданность и в них появились веселые беззаботные огоньки. Солнце уже давно село и равнина покрылась лиловыми сумерками. Они спускаются с потемневшего неба на землю, сгущаются, растворяя в себе очертания дальних предметов. Тишина умиротворяет землю. Лишь с перерывами где-то из канавы у дороги доносится булькающий звук, словно квакает простуженным голосом лягушка.

Виктор не дремлет, он зорко всматривается в темноту. Толстый покров ночи закрывает Труса от его взгляда. Присутствие собаки выдает только иногда шуршание травы, на которой бодрствует верный пес, да еще щелканье зубов в шерсти.

Но вот слышится его грозное урчание. Шорох в кустах – и отчаянный лай несется из канавы. Там какая-то подозрительная возня. Виктор настораживается и громко окликает:

– Кто идет?

Ответа нет. Но лай не прекращается, а становится еще более злым. Виктор стреляет в воздух.

Этим выстрелом своевременно поднимается на ноги вся база. Оказалось, что в эту ночь Вьетконг замышлял напасть на американцев и отбить у них их базу, но первый его патруль был вовремя обнаружен благодаря верному стражу – собаке. В короткой схватке враг был побежден. У американцев – один солдат ранен, у партизан – один убит и два взяты в плен. Все произошло так неожиданно и стремительно, что, когда бой окончился и все утихло, казалось, что это был лишь короткий кошмарный сон. Вскоре вся местность озаряется бушующим в соседней вьетнамской деревне пожаром. Огонь, как косматый гигант, то бросается вместе с ветром со стороны в сторону, то лениво потягивается к небу и своими лохматыми конечностями загребает под себя утлые хижины. При виде пожара у Виктора от ужаса сжимается сердце.

Когда солдаты подходят к деревне, они обнаруживают несколько трупов крестьян, работавших у них на кухне. Остальных же, между ними и молодую вьетнамку, Вьетконг увел с собой. Но преследовать врага ночью и в незнакомых джунглях нет никакой возможности.

* * *

С американской базы, как и раньше, открывается вид на широкую равнину. Но села на ней больше нет. На его месте темнеют восемь пятен – небольшие кучки пепла с обгоревшими остатками бревен. Дорога пустынна. По ней больше не ходят крестьяне на свои рисовые поля. Виктор с печалью и болью в душе думает о молодой девушке с черными, как вороньe крыло, длинными волосами и с блестящими задорными

раскосыми глазами. После этой страшной ночи он еще больше сдружился с Трусом, который, возможно, спас ему и его товарищам жизнь. Ведь у собаки слух гораздо тоньше, чем у человека.

Срок военной службы для Виктора заканчивается и ему предстоит возвращение в Соединенные Штаты; он идет к своему офицеру.

– Сэр, – говорит он. – Я хочу взять своего пса в Америку.

Офицер улыбается подобной сентиментальности своего подчиненного, но посылает его за информацией в ближайший городок в военную часть, содержащую много немецких овчарок.

Там Виктор повторяет свою просьбу.

– Это невозможно, – заявляет ему начальник части. – Мы даже своих собак, привезенных из Соединенных Штатов, не можем взять с собой назад.

– Что же с ними будет, когда все американцы уйдут из Вьетнама? – спрашивает озабоченно и наивно солдат.

– Мы их передадим вьетнамским войскам.

Виктор чувствует себя удрученным из-за того, что ему придется расстаться со своим верным другом. Но ему все же удается найти "хороший дом" для своего любимца: солдат из его части, большой любитель животных, обещает быть опекуном собаки.

Когда Виктор выходит с вещами, пес понимает, что это разлука навеки. Его всегда веселые глаза наполнены собачьей печалью. Джип, который должен доставить Виктора на пересылочный пункт, трогается. Трус долго стоит и смотрит ему вслед. Как только машина скрывается из вида, он, поджав хвост, плетется к своему новому хозяину. А у Виктора будто что-то тихонько скулит в сердце, когда он по дороге с автомобиля смотрит на эту зеленую долину, еще недавно ему безразличную и чужую. И он чувствует так, точно оставляет здесь во Вьетнаме кого-то близкого и родного.

ЦВЕЛА МАГНОЛИЯ

1.

Запахи солнечной ранней весны с преобладающим запахом только что скошенной травы и цветущей магнолии парили над двухэтажными кирпичными жилыми зданиями "Восход солнца".Они врывались в открытые окна и распространялись далее на улицу, где беспрестанно сновали автомобили, и там увядали, стушевывались под напористой едкой вонью бензина.

Юлия Лучинская вошла легкими и быстрыми шагами в свою, полностью оборудованную в современном стиле, кухню. В вытянутых перед собой руках она держала корзинку, наполненную разноцветными искусственными цветами. Она сама составила этот букет. С каким вдохновением и любовью она старалась обставить и украсить свое уютное, первое в ее жизни гнездышко.Прежде она с мужем и дочерью жила в грязном промышленном районе у свекрови и холостого деверя и лишь одну комнату могла назвать своей собственной. А теперь у них в чудном месте за городом была квартира с двумя спальнями и громадной светлой гостиной, устланной новым синим ковром. Сердце Юлии было исполнено радостью.Она поставила корзинку на новый круглый стол и стала любоваться букетом. Это были оранжевые, коричневые и желтые цветы, которые по цвету подходили к крапинкам линолеума на полу, к пластиковой отделке кухни и дереву шкафчиков. Среди цветов она вложила, словно невзначай, несколько синих,как небо, васильков. Хотя они ни к чему не шли, но как-то оживляли весь букет и вместе с тем всю кухню.

Молодая хозяйка невольно подумала, что ее за подобный выбор раскритикует соседка Мария, живущая над ними на втором этаже и советовавшая ей поставить на стол маленький букетик сухих мелких бессмертников.

Юлия улыбнулась: ее вкус был полным контрастом вкусу Марии, слишком консервативной и простой женщины. Недаром ее квартира, хотя и совсем недавно обставленная, производила впечатление жилья стариков, переставших идти в ногу со временем.

В остальном соседки сходились прекрасно. Почти однолетки, они вышли замуж в одном и том же году и имели пятилетних девочек. Обе женщины родились в Европе. Юлия переселилась в Соединенные Штаты из Германии как ди-пи*/. Мария же была гречанкой. Она вышла замуж за грека, выросшего в Америке и путешествовавшего по стране своих предков. Молодые люди повстречались в Афинах. За страстным романом последовала свадьба и приезд в Соединенные Штаты.

В дверь постучали. Вошла Мария. Темноволосая, темноглазая и краснощекая, с полными, хорошо развитыми формами, она выглядела солидной матроной по сравнению со стройной, высокой и изящной Юлией.

"Вот думаю, зайду, посмотрю, что делает моя соседушка", – приветливо сказала она по-английски с сильным акцентом и обняла подругу.

"Садись, садись, дорогая!" – отставила Юлия стул от стола.

Лишь тогда Мария заметила букет.

"А ты все же сделала по-своему, не послушалась меня". – В голосе гостьи звучало огорчение.

"Но что же делать? У каждого свой вкус", - как бы извиняясь, оправдывалась Юлия.– "И так оно лучше. Иначе в магазинах продавали бы одну только модель мебели или платья и только одни и те же женщины пользовались бы успехом у мужчин."

Соседки разговорились о том да сем... О дороговизне, о детях.

"Диана уже считает до тысячи", – гордо объявила Юлия. –"Вчера после ужина как начала, так не остановилась до самого конца".

"А моя на числа очень тупа", – сокрушенно призналась Мария.–"Я сама в раннем детстве была такая же".

В коридоре послышался топот детских ног и в кухню вбежала девочка. Голубоглазая, как мать, со светлыми волнистыми волосами и с ярким румянцем на щечках, она напоминала собой куклу, которую только что вынули из коробки.

"Как сегодня поживает моя дорогая девочка?" – спросила Мария.

---

*/ сокращение – "displaced person" – перемещенное лицо.

Девочка хотела что-то ответить, но ее шустрый взгляд задержался на букете.

"О, мамочка, какие красивые цветы!" — Она восхищенно захлопала в ладоши, потом голыми коленками полезла на стул и схватила корзинку. И вот она, вся возбужденная и сияющая, уже кружилась посреди кухни, так что ее цветное платьице развевалось, как пачка у балерины.

"Поставь назад, детка, ты уронишь букет", — испуганно приказала мать. Но избалованная девочка упрямо продолжала кружиться. Гречанка, все еще не привыкшая к непослушанию американских детей, нахмурилась.

"Ну, что это такое?!" — строго заявила она.-"Да она тебя совсем не слушает", — и она обратилась прямо к девочке: — "Диана, тебе говорят, поставь назад букет!" И когда девочка опять не обратила никакого внимания на замечание взрослого человека, Мария удивительно быстро подскочила к ней и рванула ее за руку. Этим она остановила ребенка, но цветы, выскользнув из его рук, упали на пол. Все молчаливо наклонились над ними. Первой пришла в себя Мария.

"Вот видишь, что ты наделала, гадкая девчонка! Мама столько трудилась, а ты все разорила. Ну-ка, покажи мне свои ручки. Давай, давай их сюда!"

Девочка послушно протянула руки и в продолжение нескольких секунд исступленно, не веря своим глазам, смотрела на чужую ей тетю, которая звучно шлепала ее по рукам, приговаривая: "А вот тебе, а вот тебе, чтобы эти ручки больше не портили вещей!"

Удары приносили мало боли, но были очень обидны. Девочка расплакалась и, громко всхлипывая, убежала в свою комнату. Юлия, не ожидая подобной активности со стороны соседки, чуть-чуть растерялась. Она подняла с пола цветы. К счастью, они оказались лишь немного помятыми. Что же касалось воспитательного приема Марии, она подумала:

"Может и к лучшему. Мария — хороший друг, она желает нам добра. А девчонка действительно совсем распустилась за последнее время. Я же никогда не позволила себе применять к Диане телесного наказания. Не то что Мария, которая у себя на родине долгое время работала с детьми. Она уж знает, как воспитывать, и свою дочь держит в ежовых рукавицах".

* * *

Следующим приобретением Лучинских были диван и квадратный стеклянный кофейный стол, которые заняли почетные места в гостиной. Еще не хватало кресел, гардин и придающих уют мелочей, как пепельницы, картинки, цветочки и т.п. Но уже даже и теперь комната приобрела жилой вид. Юлия была в восторге. Когда привезли вещи, Юлия с Дианой тщательно их осмотрели со всех сторон, чтобы, не дай Бог, не оказалось на них какого-либо изъяна.

Не замедлила явиться и соседка. Она волокла за руку свою черномазую дочь Ольгу.

"Какая прелесть!" – восхищалась она мебелью, усаживаясь в углу дивана.

Дети стали играть на полу, рассматривая картинки в книге.

"А меня вчера папа начал учить таблице умножения", – похвасталась Диана.-"Ты знаешь, сколько будет один умножить на один?"

Следовала длинная пауза. Ольга думала, хмурилась. Наконец, на ее личике появилось выражение облегчения.

"Два", – сказала она с торжеством.

"Не два, а один".

"Нет, нет! – Два, два, два!" – закричала раздраженно девочка.

"Один, глупенькая", – повторила серьезно, как учительница, Диана. – "А сколько будет дважды один?" – не унималась она.

Подобная математическая игра оказалась не под силу Ольге, которая не только в физическом развитии, но и в умственном отношении отставала от краснощекой и бойкой своей подружки и имела вид болезненного трехлетнего ребенка.

Ольга все еще старательно перебирала пальчики.

"Три", – был ее ответ.

"Не знаешь!" – звонко рассмеялась Диана.

Матери прислушивались к разговорам детей. У Марии от обиды за дочь словно тучка пробежала по лицу. Юлия это заметила и сразу вынесла из другой комнаты коробку с картонными куклами, цветной бумагой и ножницами.

"Вот вам! Вырезайте куклам платья!" – положила она коробку на ковер перед детьми, затем наполнила коржиками

великолепную хрустальную вазу, переливающуюся всеми цветами радуги в лучах солнца, и поставила ее на стол возле Марии.

"Мама, а нам?" – попросила Диана.

"Иди, детка, возьми сама, а я подам кофе". Она пошла в кухню, откуда вкусно пахло кофе. Юлия двигалась быстро и проворно с врожденной грацией хорошей хозяйки, и на нее было любо смотреть.

Тем временем Диана, оставив свою подружку с куклами, все еще с ножницами в руках полезла на диван, так как стол был велик, и она только с этой стороны могла достать лакомство. Но девочка не потянулась к вазочке, а так и замолкла, совсем застыв на диване в полулежачем положении.

"Диана! Возьми же коржики и дай мне сесть", – проговорила мать, вернувшаяся из кухни с чашечками в руках и остановившаяся в ожидательной позе. И тогда раздался детский голосок, похожий скорее на стон:

"Мама, мамочка, в диване дырка!" Девочка все еще продолжала держать в одной ручке ножницы, а указательным пальчиком другой руки ковыряла порез в новом материале.

Юлия так и обомлела. Ее нижняя губа задрожала, как у обиженного ребенка. Но Мария не потеряла самообладания.

"Что за шкодливая девчонка", – с негодованием закричала она, и ее круглые щеки стали пунцовыми. – "А я думаю, чего она притихла? А это она примостилась возле меня и диван режет. Наказать ее, наказать!"

Юлия, сразу оправившись, вырвала ножницы из рук дочери.

"Вот тебе! Вот тебе!" – приговаривала она и била ребенка по рукам, по плечам, по чем попало. Девочка кричала и извивалась от боли и от стыда, что ее наказывали в присутствии подруги, которая сейчас тихонько и злорадно подсмеивалась в сжатые кулачки.

"Я... я не трогала!.. Это не я", – отчаянно вопил ребенок.

"Ты, паршивка, испортила такую дорогую вещь да еще и не признаешься!" – возмущалась Юлия. – "За это ты будешь стоять целый час на коленях в углу!"

Она с силой потянула плачущую и упирающуюся руками и ногами Диану в ее спальню. Там она поставила ее в свободный угол за шифоньеркой и задернула жалюзи так, что комнату наполнили сумерки и угол, где стояла девочка, стал совсем темным. Затем она вышла из спальни дочери и закрыла за собой дверь, из-за которой несся громкий плач.

"Я тебе еще хочу сказать одну вещь, Юлия", – уже совсем спокойно заявила Мария. – "То, что Диана порезала диван, это, конечно, очень плохо. Но хуже всего то, что она злостно не признается и врет. Я была воспитательницей в Греции – я знаю, как с детьми себя вести. В ребенке нужно пресечь ложь с самого начала. Иначе он не вырастет порядочным человеком. Я тебя предупреждаю, соседушка!"

А в это время в темном углу спаленки на коленях стояла маленькая девочка и растирала кулачками слезы по покрасневшим щечкам.

Вечером, когда отец возвратился с работы и вся семья села за стол, у Дианы были уже сухие, но сонные и усталые глаза. Ее личико покрывала нездоровая бледность. Она почти ничего не ела.

2.

Проходили дни, недели и месяцы. И вот уже подкралась зима. Еще вчера багрянцем и золотом покрытые леса и сады теперь стояли голые и унылые. Первый снег налипал толстым слоем на немногие оставшиеся на ветвях листья, тянул их к земле своей тяжестью и вскоре обрывал, бросая под деревья к их усохшим и шуршащим собратьям. Грачи стаями налетали на пустые поля в надежде найти поживу, и их оперение на белом снежном фоне казалось особенно черным, словно бархатным.

К этому времени квартира Лучинских совсем преобразилась от новоприобретенных вещей. На ее окончательное оборудование, включая цветной телевизор и машину для мытья посуды, понадобится еще при небольшом жаловании Андрея по меньшей мере год. С тем как комнаты приобретали более жилой и нарядный вид, все ярче проступал незаурядный талант хозяйки в области декорирования помещений. Мария перестала критически относиться ко вкусу Юлии и, наоборот, всецело одобряла ее выбор. Вообще соседки очень подружи-

лись. К тому же, их связывали дети: с сентября они поочередно водили девочек в детский сад; одна из матерей присматривала за малышами, когда другая должна была отлучиться из дому; вместе они ездили в зоопарк, на пикники и в цирк. Мария всегда с искренней симпатией и пониманием выслушивала все горести Юлии. А их у последней было достаточно из-за Дианы, а именно: на новой мебели то там, то тут появлялись если не царапины или порезы, так жирные противные пятна, которые нелегко было вывести. Юлия часто жаловалась мужу:

"С Дианой ни ласка не помогает, ни наказание. Я уже все перепробовала".

"Все дети – проказники: Диане надоест, что ее наказывают, и она прекратит портить вещи", – утешал муж, уже и сам недовольный создавшимся в семье положением.

"Мария права: детей нельзя распускать, детям нужна дисциплина, дети любят дисциплину", – говорила быстро Юлия, как будто стараясь сама себя убедить в этом.

Для наказания же Юлия пользовалась двумя методами, которые никак не могли физически повредить ребенку, но все же приносили ему моральное страдание. Это были легкие трепки и стояние в углу на коленях. Она также, с целью заинтересовать девочку в материальных вещах, повернуть ее психику к бережливости, всегда включала ее в семейные дискуссии при планировании новых приобретений.

Самое приятное время для многих семейств – это обед, время радостного единства.

У Лучинских к обеду всегда шли особые приготовления. Парадно пестрели под тарелками и серебром цветистые маты; по праздникам их заменяла белая скатерть. Блестели стаканы, для хлеба вынималась из шкафчика плетеная хлебница. Диана любила смотреть, когда мать занималась подобными приготовлениями. Потом приходил отец. Только раз в день садился он с ними за стол. Красивый, большой, он сидел рядом с Дианой и широко улыбался, показывая при этом ряд крепких и крупных зубов. Его громадные руки, покрытые золотистыми волосками, искусно орудовали вилкой и ножом. И девочка думала, что более сильного человека нет во всем мире.

Однажды за обедом Юлия сказала Андрею:

"Знаешь, для спальни Дианы уже пора купить настоящий комод. Ее вещи не умещаются в шифоньерке, да и будет красивее, когда мы заполним пустой угол".

Это был тот самый ненавистный угол, куда Диану ставили на колени. Личико девочки сразу оживилось.

"Мама, мамочка, купи мне комод!" – захлопала она в ладошки. Вся ее маленькая фигурка, облаченная в темно-синюю курточку и такие же штанишки, выражала горячую просьбу. Ее голубые глазенки возбужденно блестели из-под длинной челки. Ей казалось, что все ее страдания окончатся тогда, когда будет заставлен мебелью этот ужасный угол, где она на коленях должна была стоять часами и где ее маленькое сердечко разрывалось от мук. Юлия поняла девочку.

"А ты комода-то не испортишь, не поцарапаешь?" – спросила она с болью в душе, внимательно глядя на дочь.

"О! Никогда, никогда!" – уверяла страстно девочка.

"Зачем же ты все другое портишь?"

"Я не порчу... я не порчу..." – голос ребенка задрожал. Она начала говорить так быстро, что ее невозможно было понять. Вообще же, когда ее уличали в порче вещей, Диана часто ничего не говорила, а, горько рыдая, убегала в свою комнату и падала на кровать.

* * *

Опять быстро и незаметно пробежали зима, весна и знойное лето. Началась осень. В этом году она была дождливая, гнилая, несущая с собой насморки, кашли и гриппы. Предсказывали эпидемию гонконгской инфлюэнцы. Иногда сплошная сетка дождя приподнималась, и из-за лохматых серых, ползущих низко над землей туч выглядывало яркое солнце. Тогда веселей пестрели ландшафты, лица людей казались более приветливыми и даже бодрее звучал собачий лай. Блестела, покрытая влагой, словно стеклянная, паутина, качаясь тяжело среди мокрой поблекшей листвы, над черным асфальтом поднимался пар, и в воздухе носился запах тления.

У Лучинских ничего к лучшему не изменилось. Хотя Диана пошла уже в первый класс школы, но опустошение квартиры продолжало прогрессировать удивительными темпами:

царапины умножались на лакированном дереве, пятна и порезы испещряли материал на мебели. Были попорчены гардины и даже лучшие платья Юлии. В недавно купленной шубке из искусственного меха зияла на спине дыра, а кусок каракуля был найден под кроватью Дианы.

3.

Юлия тяжело переживала уничтожение своего уютного уголка и странности любимого, но больного ребенка. А у девочки, кроме садистской изобретательности портить вещи, появилась и другая странность-она стала ненавидеть одежду. Для нее одеваться было страшной мукой. Всякая одежда стесняла и раздражала ее. Девочка упрямо все с себя срывала. По утрам уходило много времени на уговоры. Юлия жаловалась Марии. Гречанка только пожимала круглыми плечами.

"И ума не приложу", – она звучно и тяжело вздыхала. –"У нас дома такого не бывало. А в этой стране с детьми трудно. Ведь твоя девочка такая развитая, такая уж умненькая, а простого не понимает."

У Дианы появилось покашливание. Юлия заметила его первый раз, когда девочка долго бегала с подружкой по лестнице, – Диане словно что-то мешало дышать, поэтому она старалась набирать в легкие побольше воздуха. Вначале мать эти симптомы отнесла к простуде, но они стали повторяться.

После наказаний девочка иногда во сне всхлипывала, потом она начала всхлипывать по ночам и без видимой причины, словно ей мерещились кошмары. Дыхание ее учащалось, она сбрасывала с себя одеяльце и металась по кровати. Юлия прекратила наказания и обратилась к врачу. Она ему рассказала о симптомах болезни, о странностях ребенка и о наказаниях. Старый служитель медицины выслушал мать, осмотрел девочку и поставил диагноз – астма.

"Бронхиальная астма бывает и на нервной почве," – заявил он.."Хотя мне не совсем ясно, почему ребенок так глубоко переживает вполне заслуженные наказания, но, как видно, корень ее нервного состояния находится в этих наказаниях, поэтому хорошо, что вы их прекратили".

Темный угол и шлепки были изъяты из жизни девочки, но, несмотря на это, астматические припадки не только не исчезли, а продолжались с большей силой.

Опять настала весна. В одну из апрельских ночей Юлия не спала. Она сидела у постельки дочери, время от времени поправляя подушки, на которых в полусидячем положении металась Диана. Мать с чувством глубокой скорби смотрела на свою больную девочку. Боже мой! Как она изменилась за последние месяцы: румянец совсем исчез, потухли раньше всегда живые глазки. Она стала вялая и нервная. Даже ее ум както притупился – она слушала учительницу невнимательно, начала отставать по некоторым предметам... Взгляд Юлии упал на давно испорченную гардину и задержался на порезе довольно высоко над комодом, и она невольно удивилась. Как могла так высоко достать Диана? Конечно, лишь с помощью стула. Но между комодом и окном промежуток был настолько узок, что никакой стул в их квартире не мог бы туда поместиться... Ребенок опять закашлялся и захрипел, и Юлия забыла о порезе на гардине.

Утром Диана осталась дома, а соседка Мария, проводив свою дочь в школу, зашла к Лучинским. Она рассказывала о распродажах в магазинах.

"А как теперь ведет себя Диана?" – неожиданно спросила она – ей был известен запрет врача наказывать. –"Не портит больше вещей?"

"Да где там, еще хуже!" – вздохнула Юлия. –"Вчера я обнаружила какое-то противное пятно на стене в кухне. Ты же знаешь, что мы только что побелили".

"Видишь, вот тебе и доктора. Говорят не наказывать, а что они знают? Я все же убеждена в том," – уже строго продолжала она, – "что за каждую провинность должно быть наказание. Не спускать ни в чем – это испытанный метод".

Мария говорила долго, приводя всякие доводы и жестикулируя. А Юлия, хотя и слушала, но перед ее глазами появлялось бледное личико Дианы, такое измученное и страдающее, какое она его видела прошлой ночью. И ей сегодня почему-то была неприятна гречанка с ее строгими нотациями и воспитательными приемами... Наказания все равно не уберегли квартиру от разрушения.

Наряду с этими мыслями что-то другое тревожило сейчас Юлию, что-то неясное, не успевшее принять полностью в ее

уме форму. Это была как бы наполовину оконченная вышивка, исполняемая кем-то не по переведенному узору, а по памяти, – то тут, то там уже видны некоторые подробности, но самого рисунка воображение еще не может точно начертать. Иногда Юлии казалось, что еще одно мгновение и она разгадает затейливый узор и как раз тогда все очертания вышивки расплывались и исчезали совсем. Юлия, оставшись одна, долго сидела задумавшись; между ее бровями, похожими на крылышки птицы при полете, лежала легкая морщинка... Вдруг ее унылое лицо озарилось внутренней вспышкой: она в своем воображении полностью увидела искомый фантастический узор вышивки...

На следующий день, когда Мария повела девочек в школу, Юлия решительной походкой направилась на второй этаж. В руках у нее был ключ от собственной квартиры. Она волновалась и руки у нее дрожали, когда она его поворачивала в чужом замке... Дверь легко отворилась. И этим в ее уме открылась дорога для новых разнообразных и многочисленных размышлений.

Вечером, когда Диана уже спала, Юлия с мужем смотрела телевизионную программу.

"Сегодня я сделала большое открытие",– сказала она, –"а именно: наш ключ подходит к квартире Марии. Я открыла ее дверь нашим ключом."

"Что, она потеряла свой?" –рассеянно спросил Андрей.

"Нет, не потеряла. Когда она повела детей в школу, я просто пошла наверх и отперла ее дверь".

"Зачем же ты это сделала?" – удивился муж. "Чего доброго, кто-нибудь мог увидеть и донести Марии. Что бы она о тебе подумала?" Его голос стал звучать резче.

"Гораздо важнее то, что я сейчас о ней думаю. Ведь если наш ключ подошел к ее двери, то ее ключ может подойти к нашей."

"Ну, и что ж?" – пожал плечами Андрей.

"А то, что она могла проникнуть в нашу квартиру и портить мебель".

"Ты совсем с ума сошла!" – Муж теперь отвернулся от телевизора и смотрел на жену с недоумением. –"Ты же знаешь,

что у нас больной ребенок, который портит вещи, а ты всю вину собираешься переложить с больной головы да на здоровую".

"Выслушай меня до конца", – твердым голосом сказала Юлия. – "Я себя чувствую так, как будто мне удалось решить трудную крестословицу... Я давно знала, что Мария, совсем не имея вкуса, всегда завидовала нам... нашей обстановке..."

Она говорила горячо и убедительно, упомянув о порезе высоко на гардине и о подозрительных пятнах на свежепобеленной стене. Андрей сначала не соглашался с ней, но затем стал больше прислушиваться и меньше возражать.

"Если это действительно так, как я предполагаю", – сказала в заключение Юлия, – "попорченного, конечно, не возвратишь. Правда, можно попробовать через суд. Я сегодня приблизительно подсчитала: мы понесли убытки больше, чем на пять тысяч долларов. Но главное ведь не деньги, а то, что, если мы сумеем доказать, кто виновен во всем, наша дочь будет иметь большой шанс выздороветь: с нее будет снята вина – ведь мы-то ее наказывали напрасно".

Юлия изложила в деталях свой глубоко продуманный план и настаивала на том, чтобы нанять детективов.

Так как в доме для дальнейшей порчи почти ничего больше не осталось, то Юлия вскоре "для приманки" купила новые гардины в спальню дочери и пригласила сразу же Марию.

"Диана перестала последнее время портить вещи", – болтала она непринужденно, показывая соседке обновку, – "вот мы с мужем и решили наново обставить нашу квартиру. Завтра – суббота, муж не идет на работу, и мы все едем в Нью-Йорк за покупками".

Утром Лучинские шумно собирались в дорогу.

Не прошло и десяти минут после их отъезда, как на лестнице послышались тихие шаги, щелкнул замок и в дверях появилась Мария. Ее движения были смелы и уверены, она хозяйничала в чужой квартире, как у себя дома. Вынув из кухонного шкафа острый ключ для откупорки консервов, она с ним в руке направилась в комнату Дианы. У гардин Мария занесла руку вверх. В этот момент из шкафа выскочили два детектива и арестовали ее.

Тем временем Лучинские, объехав несколько раз вокруг квартала, возвратились домой. Юлия обратилась к Марии:

"Мне ясно, почему ты портила вещи. Но зачем ты старалась, чтобы я за это наказывала ни в чем неповинную девочку?" – голос ее дрожал и срывался от негодования.

Мария отвела глаза в сторону и покраснела. Юлия настойчиво повторила вопрос. Тогда гречанка чуть слышно сказала:

"Моя дочь такая дура, а твоя умненькая", – и закрыла лицо руками.

"Боже! Боже! Мы же были подругами..." Из глаз Юлии покатились слезы.

Марию уже увели, муж в гостиной читал газету, Диана танцевала возле него с куклой, а Юлия с потупленным взором словно закаменела за столом в кухне. В открытое окно проникал запах сада: запах только что скошенной травы и цветущей магнолии. На дворе стояла чудная погода солнечной ранней весны, как и два года тому назад, когда сердце Юлии было исполнено прекрасными надеждами и планами на будущее. Сейчас же она чувствовала себя совершенно опустошенной, точно так, как ее любимое гнездышко, которое она с такой любовью свила. Рядом в гостиной слышалось иногда покашливание ребенка, и каждый раз при этом судорожная боль пробегала по лицу матери.

А магнолия пахла крепко и пряно, и от ее запаха кружилась голова.

МОДНИЦА

С приходом союзников в Германию ожили, как мухи, пригретые весенним солнцем, иностранцы. Бывшие военнопленные, сельскохозяйственные и фабричные рабочие приободрились: собирались группами, смеялись и пели. Многие начали разыскивать своих близких и знакомых, другие же, воспользовавшись свободой после многолетних запретов и ограничений в передвижении, стремились куда-то в неизвестную даль, даже без особой в том нужды.

Они смешивались с беженцами, направляющимися на запад. Несмотря на скудность транспорта и перебои в его работе, все было в движении. Людской поток разлился стихийно. Но мало-по-малу он замедлялся, люди оседали в наскоро организованных лагерях УНРРА.*/

Один из них помещался на окраине небольшого городка в Вестфалии. Улицы там были ровные, неширокие, обсаженные молодыми деревьями. Домики – удобные для жилья, одноэтажные, кирпичные под черепичными крышами. Оккупационные власти выселили коренных их обитателей, и их место заняла смесь народов. В короткое время из полнейшего хаоса начала выкристаллизовываться нормальная жизнь человеческого поселения. Будто здесь жили уже годами. Организация шла в порядке национальных групп: балтийской, польской, украинской и русской, имевших своих представителей, связанных непосредственно с УНРРА. "Государственным" языком лагеря стал немецкий. Обед все получали в общей столовой, а раз в неделю выдавался сухой паек.

Ветерок, насыщенный запахами полей, мирно колыхал развешенное на веревках белье, хозяйки переговаривались между собой у крыльца, дети играли тут же на тротуарах улиц, а подростки ходили довольно далеко в лес по ягоды.

Люся Борисова занимала со своей тетей крошечную, убого обставленную комнатушку недалеко от здания УНРРА.

---

*/ Организация ООН, заботившаяся о "перемещенных лицах".

Наталия Яковлевна, незамужняя сестра покойного отца девушки, была низенькой, седой, чопорной женщиной с глубокими морщинами вокруг увядшего рта, с темными реденькими усиками и с серыми проницательными глазами. Хотя их кормила и одевала УНРРА, а Люся достигла уже совершеннолетия, все же Наталия Яковлевна считала долгом заменять девушке родителей, причем своими нравоучениями изрядно ей досаждала. Люся, чтя память отца, относилась к тетке с уважением. К тому же, это была единственная в теперешнем ее мире родственница.

Столкновения между тетей и племянницей больше всего происходили из-за увлечения Люси модами. Девушка считала очень важным идти в ногу с временем.

— По одежке встречают, а по уму провожают,— часто и язвительно повторяла Наталия Яковлевна, желая повергнуть в прах все моды на платья и прически.

Люся только два дня перед началом войны окончила десятилетку, где не разрешалось ни употребление косметики, ни завивка. Впрочем, тогда ее такие вещи не интересовали. Она была прилежной ученицей, проводившей за книгой все свое свободное время. На плоскогрудую, неказистую, прыщеватую девчонку с копной золотистых,как спелая рожь,прямых волос не только взрослые парни, но и одноклассники не обращали внимания. Мальчишки даже острили по поводу ее худобы, пародируя стихотворение:"Тощая дева со взором горящим..." А вот глаза у Люси были действительно красивые, черные, горящие как звездочки,-единственное ее украшение. Природа волшебно изобретательна. Если не дано красот и чар других, она, как бы невзначай, бросит какую-нибудь одну привлекательную черточку, как, например, глаза, даже не самые глаза, а какой-то огонек, магнит в них.

Только уже в Германии, несмотря на плохое питание, Люся начала бурню развиваться. Вся округлилась, пополнела, щеки у нее налились, лицо очистилось. И теперь эту стройную девушку как-то сразу стали замечать мужчины. Все произошло как в сказке о гадком утенке. И под мужскими взорами Люся расцветала еще больше.

Она часто вертелась перед зеркалом. Оттуда на нее смотрело девичье свежее личико со стрельчатыми темными бровями и с родинкой на правой щеке. Она улыбалась и ряд ровных, крупных зубов, как жемчуг, показывался между накрашенных губ. Наталия Яковлевна хмурилась, посматривая искоса на свою племянницу.

– Перестань смотреться в зеркало! – кричала она.

– Но ведь ты тоже была молода, – возражала Люся.

Наталия Яковлевна пропускала подобные замечания мимо ушей.

Люся не всегда прислушивалась к советам тети. Сделала завивку-перманент и стала уделять особое внимание своим убогим нарядам, которые все без исключения могли поместиться в одном ее потрепанном чемоданчике. Она даже выменяла за папиросы шкаф без двери и аккуратно развесила в нем свои платья. Бантики, поясочки, вытачки, плиссировочки целиком заполнили ее жизнь. Даже свое собственное имя "Люся" стало ей казаться теперь простым и устарелым, и она переделала его на более популярное имя "Лили" (с ударением на втором слоге), надо думать, взяв его из песни "Лили Марлен".

По соседству с Борисовыми жила со своим пятилетним сыном бывалая и веселая эстонка Регина, молодая вдова офицера. Лили иногда забегала к ней. У эстонки туалетов было много, и она всегда выходила в город одетая с иголочки и разукрашенная как кукла. Даже у толстого апатичного лагерного коменданта - англичанина разгорались глаза, когда он из окна своего кабинета провожал взором эту "веселую вдовушку" с почти белыми от перекиси водорода волосами.

Однажды Люся собралась в кино, надев самое лучшее платье. Регина, встретив ее на крыльце, позвала к себе.

– Ты выглядишь сегодня замечательно, Лили, – похвалила она. – Но ты не обидишься, если я тебе что-то по-дружески скажу?

– Нет, почему же? – ответила девушка, насторожившись.

– Не носи носков с туфлями на высоких каблуках.

Лили немного смутилась, но возвратилась домой, чтобы заменить носки чулками.

С этого дня молодые соседки подружились, и для Лили Регина стала неоспоримым авторитетом в модах. Девушка, подражая своей новой подруге, старательно подшивала во все платья и блузки на плечах треугольные толстые подкладки, которые Регина на своем языке называла грозным словом "пачоки" и которые придавали человеку вид американского футболиста. Перед каждым выходом в город Лили забегала к веселой вдовушке.

– Миленькая, посмотри, все ли у меня в порядке?

Регина, прищурив глаза, производила долгую и тщательную инспекцию, поправляла какой-нибудь локон или поясок, одергивала платье.

– Все в порядке, – наконец изрекала она и довольно щелкала языком.

На рынке за деньги ничего нельзя было купить; единственным источником одежды была УНРРА, где в большинстве случаев выдавались вещи, пожертвованные сердобольными американцами. Подруги все перешивали и переделывали вместе. Лили впитывала в себя, как губка, отдельные законы моды, заучивала их наизусть, словно таблицу умножения: "к серому цвету идет красный или синий", "к синему – желтый", "можно мешать разные цвета, но не один цвет разных оттенков", "разноцветную юбку носить только с одноцветной блузкой и наоборот", "туфли на высоких каблуках – только с чулками"...

Чем больше нарядов, тем прекрасней казалась жизнь.

Но судьба готовила всем модницам, а в частности Лили, неожиданный удар. Весь ее с такой тщательностью составленный гардероб пришел в негодность. Причиной была денежная реформа 1948 года, которая дала могучий толчок бурному развитию экономики Германии. С реформой расцвела вся жизнь, торговля, промышленность, а с ними пришла и новая мода : "нью лук". Практичная во время войны из-за недостатка материалов одежда до колен уходила в вечность. В городах на разбитых улицах с полуразваленными домами все чаще встречались женщины в длинных платьях, доходивших почти до щиколоток, а вслед им с завистью смотрели и вздыхали те, у которых не было средств на такую роскошь. Вчера еще пустые магазины наполнились товарами. В залитых неоновым

светом витринах появилась разнообразная изящная обувь, на манекенах – элегантные творения искусных швей. Но, за неимением денег, это все было недосягаемо лагерным обитателям, что еще больше разжигало страсти и желания следовать новым модам.

Наряду с ударом, нанесенным "нью луком", Лили постигло и другое несчастье: неожиданно и опасно заболела ее тетя. Еще поутру она возилась с их несложным хозяйством, а к вечеру слегла. Ее глаза ввалились, а усики над верхней губой, казалось, еще более потемнели. На третий день она в бреду металась в постели. Пришлось везти ее в другой город в немецкую больницу, где несколько палат было отведено иностранцам. Состояние здоровья Наталии Яковлевны там признали критическим, и врачи, относившиеся с сочувствием к одинокой девушке, не скрывали от нее возможности трагического исхода болезни тети.

Лили возвратилась домой усталая и удрученная. К ней зашла Регина.

– Ну, как с тетей? Есть надежда? – спросила она, обняв за плечи Лили.

– Двустороннее воспаление легких. Почти безнадежно.

– О, это ужасно! – Лицо веселой вдовы приняло соболезнующее выражение. – Если, не дай Бог, тетя умрет, тебе придется все перекрашивать, – словно невзначай добавила она. – Ведь траур обязательно нужно выдержать целый год. Я тоже целый год по своему мужу носила траур. – И подбодряюще добавила: – А тебе с твоими светлыми волосами черное будет к лицу.

И хотя последнее замечание было не совсем тактично, оно перевело печальные мысли Лили на другие рельсы – к ее любимым предметам: одежде и модам.

Лили немедленно принялась за работу. Ее комната превратилась в мастерскую кройки, шитья и перекраски, где изготовлялась одежда с расчетом на целый год. На протянутой от стены до стены веревке висело несколько пар чулок, словно вороны уселись на ветке отдохнуть. Короткие платья и юбки постигла подобная же участь, при чем они удлинялись. Некоторые же вещи выменивались на что-либо траурное у немцев.

Каждый день Лили посещала трехэтажную кирпичную больницу, к которой вела ровная аллея стройных тополей. Вернувшись домой, она принималась за свое обычное занятие, часто даже забывая его подлинную цель. Она упивалась самой работой, отвлекающей ее от грустных размышлений. Регина руководила кройкой и меной вещей. Когда подруг вызвали в лагерный склад для получения новой одежды, эстонка шепнула Лили на ухо:

– Потемней выбирай!

Лысый толстяк, заведующий складом, отнесся к выбору Лили с искренним сочувствием: в его заплывших жиром безразличных глазах на мгновение появилось сострадание – всему лагерю было известно о горе девушки и каждый относился к ней с симпатией.

Целый вечер провозилась Лили над своим новым платьем – сделала несколько вытачек, удлинила – и, примеряя его, удивленно воскликнула: оно лежало на ней бесподобно, мягким колоколом спадая с бедер. Это было ее первое новое платье в стиле "нью лук", не перелицованное, не с чужого плеча, а из лагерного магазина.

На следующий день девушка, как всегда, спешила по светлому, безупречно чистому больничному коридору к палате тети. У двери ее встретил молодой врач, пахнущий йодоформом и улыбающийся всем своим круглым, как у младенца, лицом. Не преминув ущипнуть ее за щечку, он объявил ей, что у тети ночью прошел кризис болезни благополучно, и больная сейчас уже вне опасности.

– Это редкий случай возвращения с того света, – добавил он. – Настоящий казус в медицине.

Лили радостно вбежала в палату. Со снежно-белой подушки на нее глядело изможденное долгой болезнью, бледное как мел, но улыбающееся лицо тети. Обе прослезились. Врач, сестра и три пациентки с умилением наблюдали эту трогательную сцену. Только по дороге домой Лили, привыкшая к определенному режиму дня, вспомнила о своем трауре. Все было готово, кроме нескольких мелочей: в одном платье осталось пришить пуговицу, в другом – кнопку и прорезать петельку, что она сегодня и намеревалась сделать. И вдруг

мысль, как молния, поразила ее: ведь траур ей больше не нужен, так как тетя сейчас находится на пути к выздоровлению. У Лили же, кроме траурной одежды, ничего не осталось. Нервы девушки, возбужденные радостным сообщением о выздоровлении тети, не выдержали второй встряски, и она на пороге своего дома горько разрыдалась.

Регина, как раз выглянувшая из свой комнаты, бросилась к ней.

– Ну, что, дорогая, умерла?

Лили пришла в замешательство.

– Нет, не умерла... – не сразу ответила она.

– А я вот тебе косынку выменяла, – похвалилась эстонка, – чистый шелк! – И она вынесла подруге обновку.

Лили поблагодарила и, механически взяв черную косынку, медленно побрела в свою комнату. Там она устало опустилась на стул против шкафа. Долго и неподвижно девушка созерцала свой с таким трудом приобретенный траурный гардероб, и слеза за слезой катилась по ее хорошенькому личику.

О Н А   М О Л Ч А Л А

Посвящаю Николаю Бойко!

Пожарный Виктор Турпин, в бреду раскинувшись на больничной постели, беспрестанно отбивался от движущейся на него уймы красных, синих, желтых и зеленых кружков. Иногда эта ярко-разноцветная масса начинала быстро вращаться. Тогда все цвета сливались и отвратительная тошнота поднималась у Виктора.

– Остановись! Остановись! – в отчаянии кричал он, стараясь руками удержать этот ненавистный воображаемый пропеллер, но лопасти с силой отбрасывали Виктора, и назойливые круги опять появлялись перед глазами. Лишь изредка Виктор падал в черную пропасть беспамятства, где не было вообще никаких ощущений; в такие минуты его выстрадавшие тело и мозг предавались долгожданному и спасительному отдыху.

Впервые сознание возвратилось к нему на восьмой день после несчастного случая. Голова болела, все тело налилось какой-то лениво-свинцовой тяжестью, в горле пересохло. Он попросил пить. Голос прозвучал чуждо для его слуха.

Из сплошной, как в безлунную осеннюю ночь, темноты внезапно вынырнул звук знакомых шагов.

– Мона, – сказал он счастливо и теперь понял, что что-то плотно закрывало ему лицо, не разрешая словам проходить свободно. – "Повязка", – догадался он и спросил встревоженно:

– Что со мной, Мона?.. Где я?...

Его обоняния нежно коснулся запах любимых духов невесты,и теплая рука легла ему на плечо.

– Ты в больнице, Виктор, – объяснила ему девушка, – Не пугайся, ты скоро поправишься. Тебя ранило в ногу и лицо. Не двигайся, – предупредила она, видя, что жених намеревается встать. – Твоя нога в гипсе, а на лице сделали операцию и повязку снимут через несколько дней.

– Это все случилось там, в горящем доме... – припоминал вслух Виктор. – Я очутился в самом огне...

– И там произошел взрыв, – подсказала Мона.

В его памяти воскресла картина недавно случившегося с ним несчастья:

Теплое летнее утро. Легкий туман. Негры, несмотря на раннюю пору, собирались группами, но там, где угрожали черные снайперы, улицы были пусты, и пожарным приходилось работать осторожно. Они разворачивали шланги и лестницы, тащили их по мусору и стеклу, и вскоре змеи воды устремились на разъяренное море огня. В этой схватке вечно враждующих стихий – огня и воды, – к несчастью, победителем выходил нередко все уничтожающий огонь. Виктор должен был проверить – не остались ли еще люди в здании. Он бежал по темным липким коридорам, заглядывая в комнаты и выкрикивая одну и ту же фразу: "Есть еще кто-нибудь здесь?" Иногда прислушивался. Только мыши и крысы, учуяв что-то недоброе, суетились в стенах, жалобно попискивая, наверное, собираясь покинуть свой "погибающий корабль". Дым начал сдавливать горло, забивая дыхание.

Когда Виктор решил возвращаться, выйти из дому по той дороге, по которой он зашел сюда, было уже невозможно, так как в одной из комнат обвалился потолок. Он пытался найти другой выход и, с трудом открыв покосившуюся дверь, очутился в пылающей небольшой кухне. Вот в тот момент он и почувствовал сильный удар в лицо, словно молния прорезала его мозг, а потом все рухнуло в какую-то бездну...

Виктор нетерпеливо ждал снятия повязки. Сколько душевных мучений было в этом долгом ожидании. Часы казались днями, дни месяцами. Он уже знал, что одна его нога будет немного короче. Но его больше всего беспокоило лицо. Мона всегда гордилась его мужественным лицом. Что будет теперь с ним и его невестой, с их лучезарными планами на будущее?

Наконец, день, когда должны были снять повязку, пришел. Специалист по пластической хирургии, производивший операцию, обратился к своему пациенту полушутя - полусерьезно:

– Теперь покажите нам свое новое лицо. – Он ободряюще продолжал, как будто читая мысли Виктора. – Шрамы со временем уменьшатся и побледнеют. Пластическую корректуру

можно повторить в будущем. Конечно, останутся некоторые следы. Но не нужно забывать, что мы – врачи, а не боги, вы же мужчина. Для мужчины подобный дефект - небольшое горе.

Виктор волновался. Последний виток марли был снят.Сначала свет больно резнул его привыкшие к темноте глаза, ослепил его, превратив все в полыхающее море огня. Постепенно он начать различать предметы. Это была операционная комната, чистая и блестящая, с почти затемненными окнами. Вокруг него стояли врачи и сестры милосердия.

Когда Виктор первый раз посмотрел в зеркало, он застыл в ужасе. Возможно операция действительно увенчалась успехом, если принять во внимание серьезность повреждений, но его лицо изменилось до неузнаваемости. Врачи – не боги!

Виктор должен был оставаться еще некоторое время в больнице из-за ноги.

В отношении Моны он принял решение и при следующем свидании объяснился с ней чистосердечно.

– Мое ранение все изменяет, – сказал он, – забудь о нашей помолвке. Наши обещания и клятвы теперь уже пустые слова. Делай, что хочешь. Наши дороги должны разойтись.

Но вышло совсем по-другому.

– Нет, Виктор, я никогда тебя не брошу, – Мона с нежностью прильнула к нему.

– Посмотри! Ну, только взгляни на меня! – повернулся он к окну. – Посмотри на мое лицо. Если даже ты сейчас искренне хочешь остаться со мной, ведь позже ты будешь жалеть.

– Нет, не буду, – простонала девушка.

– Но разве только моя внешность? Работать пожарным я больше не смогу. Кто его знает, что меня ожидает. Я не позволю тебе испортить свою жизнь из чувства жалости ко мне.

– Виктор, я тебя люблю. Не гони меня, – молила Мона.

Слезы, наполнив ее большие серые глаза, стали катиться по ее бледному лицу. Уговоры, просьбы и даже строгость, проявленная женихом, не повлияли на девушку. Виктору пришлось уступить. Молодые люди решили через шесть месяцев после его выхода из больницы обвенчаться и поселиться вдали от родного города, полного для них обоих тяжелых воспоминаний. Они избрали местечко в Норт Кэролайне, где их никто не знал и где Виктор по протекции родственников получил

место в гараже. Сначала он туда поехал один, за ним должна была последовать Мона.

Но никто еще не изучил законов судьбы и случайностей, и никто не знает, несмотря на создаваемые планы, что ему предназначено пережить и испытать в будущем.

* * *

Солнце клонилось к западу. Его лучи не жгли, а ласкали и нежили по-весеннему, хотя уже было начало июня. Виктор, одетый в свою светло-синюю спецовку, заносил в книгу последний счет. Через громадное окно гаража были видны бензиновые колонки на заасфальтированной площадке. На улице давно улеглось движение.

Уже пять месяцев Виктор провел в этом городке. Ему нравилась его работа. Лишь не по душе ему было мыть передние стекла заезжающих за бензином машин, так как нередко он ловил на себе взгляды своих клиентов, особенно женщин, но не обычные взгляды, а полные жалости. Везде это выражение жалости, где бы он ни был. До несчастного случая люди представлялись ему совершенно другими. Они говорили иначе, выглядели иначе — это были счастливые лица, дружеские лица, злые или печальные лица. А теперь, казалось, только любопытство и сострадание управляли миром. Для Виктора бичом были дети. Они еще не научились скрывать своих чувств и сразу их проявляли при взгляде на его изуродованное лицо. Он хорошо помнил маленького толстого мальчугана, подъехавшего к гаражу с родителями. Увидев его, малыш судорожно прижался к матери; в его больших глазах был ясно выражен страх.

— Какой страшный дядя... какой страшный... — повторяли его дрожащие губы.

Отец и мать старались своей любезностью сгладить неприятный инцидент, но безуспешно: Виктор стал бояться и избегать детей.

Не только дети, но и взрослые оборачивались на улицах и смотрели на него с любопытством и состраданием. Однажды он чуть не налетел на грузовик. Шофер выскочил из кабины и направился к нему, беспощадно бранясь, но, разглядев его лицо, проговорил с досадой в голосе:

— Езжай парень, езжай!

Виктору было бы легче, если бы его ударили.

Жизнь для него превратилась в мучения. Единственной надеждой была его невеста. Но и она изменилась по отлошению к нему. Он долго не хотел этому верить, боялся верить. Ведь он теперь не мог остаться без Моны. А письма от нее приходили последние два месяца редко. В них не было ни прежних чувств, ни даже намека, что она к нему вскоре приедет. Когда же он звонил ей, бесстрастный голос хозяйки отвечал:

"Мисс Моны нет дома".

Недавно она совсем замолчала. Это молчание было для него пыткой. Молчание, молчание без конца. Вот почему он написал ей длинное письмо, полное мольбы и страсти, прося прервать это невыносимое молчание ответным письмом или же позвонить ему между шестью и семью вечера на работу, так как он в своей квартире не имел телефона. Письмо он послал в понедельник, а сейчас уже была суббота. Он нетерпеливо поглядывал на часы, когда вдруг зазвонил телефон. Виктор дрожащей рукой поднял трубку.

– Харрис гараж, – хрипло сказал он.

Разочарование отразилось во всей его фигуре : это был вызов на дорогу.

– Что с вашей машиной? – спросил он.

Последовало длинное объяснение.

– Хорошо, я сейчас выеду. Где вы находитесь?.. Я знаю, где это.

Он повесил трубку. Мона не звонила – она молчала. Виктор медлил. Он достал свое портмоне и раскрыл отдел со снимками. Ему улыбнулось задорно девичье лицо. Это была карточка Моны, которую он получил от нее два года тому назад, когда они обручились перед его отъездом во Вьетнам. Он получил ее взамен своей... Своей? В то время он выглядел иначе : на хорошей бумаге было лицо интересного молодого солдата с темными глазами, строго очерченным подбородком и с темным густым ежиком волос. Когда-то фотография Моны стояла у него на столике и была предметом его гордости, но теперь он прятал ее от людей. Никто бы даже не поверил, что она его невеста.

Стрелка часов перевалила за семь. Ему нужно было идти, – его ожидал клиент на дороге. Но, когда Виктор поднялся и

направился к двери, опять зазвонил телефон. Хромая, он подбежал к столу.

– Алло... Да... – сказал он в трубку, не имея смелости сесть. Капли пота выступили на его лбу. – Я рад, очень рад, что ты мне позвонила, – говорил он счастливо, – ты получила мое письмо...

Это был продолжительный напряженный разговор. Постепенно его голос терял радостные нотки. Он все еще был чрезмерно возбужден, но уже совершенно иначе. Он не пропускал ни одного слова, он пил каждый звук, который приносил ему магический провод из шумного родного города. Сам же он говорил лаконические фразы:

– Конечно... Я понимаю... Все для меня ясно...

Он не хотел вступать в спор. Что он мог сказать? Он все написал в своем полном страсти письме. Злоба сдавливала его горло, он, наконец, вымолвил:

– Мне не нужно кольцо. Оставь его себе, – и потом с горькой иронией добавил: – Мне не понятно лишь одно, почему ты сразу после несчастного случая не порвала со мной, как я тебе предлагал? Почему? Ведь тогда мне было бы легче начинать жизнь сначала. Теперь, когда я познал реакцию людей на свое уродство, когда я познал связанное с ним одиночество и все свои надежды перенес на тебя... Теперь... – он задыхался. – Ведь ты уже тогда видела мое лицо. Ты видела, насколько я безобразен... Да, я безобразен... безобразен... – Он все больше повышал голос, доходя до исступления. – Зачем же ты так долго ждала? Чтобы меня больнее ранить? Говори! Говори же!

Когда порыв злобы миновал, он хотел продолжать разговор:

– Мона! Слушай, Мона! Алло!... Алло!...

С другого конца шел пустой телефонный шум. Она повесила трубку.

– Безобразен... – стал тихо повторять он, ненавидя это слово. Комната вертелась перед ним, словно он выпил большое количество алкоголя. Его исковерканное, неподвижное, словно каменное лицо, выглядело сейчас действительно страшно и еще более уродливо. Он выбежал во двор и, даже

не сказав ни слова своему помошнику, возившемуся в гараже с мотором машины, сел в джип и сорвался с места, все еще шепча: – Безобразен... Как я безобразен!...

Сумасшедшая езда и вечерняя прохлада не успокоили возбужденных нервов. Одиночество, к которому Виктор привык, сжился с ним, становилось для него нестерпимым. Он почувствовал облегчение, когда увидел на дороге старика, ожидавшего его возле своего автомобиля. Он приступил к осмотру мотора. Но машину, а также своего клиента-старика, он видел словно сквозь туман и работал как автомат, борясь отчаянно с заполнившими его воображение картинами прошлого.

– В этом году предполагают метеорологи дождливое лето, – проговорил он, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей.

– У нас, стариков, – заявил клиент, – кости предсказывают погоду лучше всякой метеорологической станции.

Не было надобности тащить автомобиль в гараж, так как неисправностью оказалось короткое замыкание, которое было устранено на месте. Клиент полез в карман за кредитной карточкой, но джип с механиком уже удалялся от него. Старик удивленно посмотрел ему вслед и пожал плечами.

С наступившими сумерками лес выглядел гуще, как будто сосны приблизились друг к другу. Они шелестели своими иглами, словно перешептывались. Молодой месяц выглянул из-за серебряной тучки и его мягкий свет придал всем предметам загадочно-мистический вид, как в сказке.

Когда Виктор остался опять один, его мысли непослушно вернулись к Моне. "Думать о чем-то другом", – старался он приказать себе. Но, несмотря на все усилия, он продолжал видеть перед собой дразнящее лицо девушки. Она улыбалась. – "Я схожу с ума", – думал он. – "Скорей бы с этой пустынной дороги выехать туда, где свет, где жизнь".

Он посмотрел нетерпеливо в сторону невидимого еще города, как будто надеясь увидеть огни сквозь сплошную стену леса. Даже машины редко проезжали мимо. На повороте Виктор замедлил скорость. Узкий блестящий, как длинная сабля, луч фар как бы подкосил деревья и, снова выпрямившись, упал на дорогу. Впереди показалась какая-то фигура с поднятой рукой. Мысль опять быть в обществе человека его обрадовала и он остановился.

– Садитесь, я вас подвезу, – предложил он подбежавшей к нему девушке и, боясь, что она передумает, добавил быстро: – Я работаю в гараже и был вызван на дорогу. Вам в город? – спросил он, когда джип тронулся.

Девушка в ответ кивнула головой.

– Вы с фермы? – старался он наладить разговор.

Снова кивок головы.

– Вечером стало прохладно, – сказал он после длинной паузы.

Ответа не последовало. Раздражение стало возвращаться к нему, наполняя постепенно мускул за мускулом, клетку за клеткой. –"Какого черта она молчит?" – думал он.

Все время, когда девушка сидела рядом с ним, он ни разу не посмотрел в ее сторону, даже точно не знал, как она выглядит, – черные ровные, спадающие на плечи волосы и белая блузка – это все, что Виктор заметил во время их короткого знакомства, но он чувствовал на своем лице, на своем изувеченном лице, пристальный взгляд, немигающий и гипнотизирующий взгляд ее больших темных глаз. Он не переносил пристальных взглядов, изучающих его уродство. Его также выводило из терпения, если ему не отвечали : ведь Моны долгое молчание принесло ему столько страданий! Теперь он сожалел, что взял с собой это неразговорчивое, странное существо.

Мотор шумел, ветер свистел в ушах, а глаза девушки продолжали впиваться в него. Блестящие глаза, как два прожектора, не выпускали его ни на минуту. Он видел только эти одни глаза. Они висели как бы отдельно в темноте ночи, просверливали его все глубже и глубже. Дрожь прошла по телу Виктора.

– Говори, говори! Скажи же что-нибудь! – вырвалось у него с ненавистью. – Скажи, как тебя звать?

Она молчала.

– Ты работаешь на ферме или живешь там с родителями?

Опять ответа не было.

Вспомнив недавний разговор со стариком-клиентом, он в каком-то диком отчаянии продолжал:

– В этом году метеорологи предсказывают дождливое лето. Ты это слыхала?

Молчание.

– Старики говорят, что у них кости предсказывают лучше метеорологических станций.

Опять молчание.

Виктор страстно вдруг захотел избавиться от этой молчаливой девушки, выбросить ее. Он злобно нажал на тормоза. Когда джип остановился, он повернулся к своей пассажирке и в упор посмотрел на нее. Теперь он разглядел на ее щеке черную родинку. – "У Моны такая же родинка на плече", – подумал он. При воспоминании о Моне кровь начала быстро приливать к его голове. Его мысли путались.

– Я безобразен, – вот почему ты ничего не говоришь, – уже задыхался он. – Я безобразен! Вот почему ты только смотришь на меня, но не отвечаешь...

Внезапное бешенство совершенно захлестнуло его сознание...

Когда он пришел в себя, он стоял возле своей машины; месяц, обвитый туманным сиянием, висел над ним; по сторонам призрачно шумели сосны, а вдали мерцало несколько огней затерявшейся в лесу фермы. Виктор держал что-то тяжелое. В удивлении он посмотрел на свои руки. В них безжизненно, как мешок соломы, висело молодое тело девушки. Воротник найлоновой белой блузки был порван, и большие, полные страха глаза еще наблюдали за ним неподвижно, как и прежде, в джипе. Ему стало все понятно. Он положил девушку на землю и взял ее за руку: пульса не было. Он опустился на колени рядом с ней и приложил ухо к ее груди. Молодое сердце остановилось навсегда.

– Почему ты молчала?! Ах! Почему ты только молчала? – с чувством великой утраты произнес он.

Осторожно он поднял ее, понес, хромая, к обочине и положил в нескольких футах от асфальта мостовой на виду у проезжающих машин. Зачем он это сделал, а не спрятал своей жертвы в лесу?... Может быть в эти минуты подсознательно перед ним пронеслись картины войны, когда он на полях и в джунглях Вьетнама видел десятки непохороненных разлагающихся трупов с глазами, устремленными в небо.

* * *

Это была длинная бессонная ночь. Виктор, одетый и в туфлях, лежал поверх одеяла на кровати в своей комнатушке.

– Если бы ты отвечала, этого бы никогда не случилось, – как будто извиняясь, повторял он.

Красная горящая точка его папиросы танцевала, не переставая, в темноте. Он ожидал восхода солнца и был первым, кто купил утреннюю газету в киоске на противоположном углу улицы. Он схватил ее дрожащими руками и начал перелистывать страницы. Заголовки прыгали перед ним:"Война во Вьетнаме..." Не это. "Сторож спас ребенка". Страница за страницей. Неожиданно он увидел заголовок: "Найден труп девушки". От возбуждения он терял строки и перечитывал опять и опять, пока, наконец, не понял содержания. Оно было следующим:

"Учитель П. Рэй, проезжавший вчера приблизительно в девять часов вечера по дороге 301, нашел на обочине тело молодой девушки. Она была опознана как мисс Ирина Кларк, проживавшая с семьей своего брата Якова на ферме. Царапины и синяки на шее и всем теле указывают, что она оказала сильное сопротивление своему убийце, прежде чем быть задушенной между 8 и 9 часами вечера, как было установлено медицинской экспертизой. На допросе мистер Яков Кларк заявил, что его сестра после ссоры с его женой сбежала из дому. Куда она направлялась, ему неизвестно, так как родственников у нее, кроме него, не было, а друзей она не имела из-за своего врожденного дефекта: она была глухонемая..."

LA LIDIA

Плавно, чуть заметно качают голубые серебристо-переливчатые волны Средиземного моря плывущий пароход. Воздух чист и прозрачен и надувает легкие, как паруса. Волны, рассекаемые носом гордого корабля, не плещут, не шумят, а шуршат, точно сосны на ветру. Справа непрерывной лентой тянется гористый Лазурный берег французской Ривьеры с полупустыми после отшумевшего летнего сезона пляжами. Постепенно исчезает чудесная панорама Канн с Ниццой и Монте Карло под отвесной скалой.

Федор Ильич Лугин, опершись на перила палубы, жмурит сквозь очки свои близорукие глаза от сверкающей, мчащейся на него лавины солнечного света. Он следит за носящимися над морем чайками, крики которых совершенно не заглушаются расстоянием, и ему кажется, что свежий, живительный ветер умело разглаживает на его лице морщины, след почти семидесяти лет и страданий скитальческой жизни. Сердце не по летам молодеет. Он чувствует себя так, как когда-то чувствовал себя будучи молодым офицером, прорывающимся на лихом коне через позиции красных в Крыму, чтобы навсегда покинуть родину. Тогда было его первое большое морское путешествие. "Теперь, наверное, последнее", – размышляет он, – "на мою пенсию вряд ли удастся позволить себе второй раз подобную роскошь".

Федор Ильич, увлекавшийся героями Лермонтова, среди которых были фаталисты, верил, что эта поездка предопределит его судьбу встречей с Лидией Самсоновной, милой, замечательной, доброй и такой истинно русской женщиной. Когда он был с ней, ему вспоминалось далекое детство, нянины сказки, вечерние завывания вьюги, уютное шипение самовара да раздолье и ширь красавицы Волги. Он, наконец, нашел родственную душу.

Они познакомились еще в Ницце, где Федор Ильич гостил в семье своего давнего друга по полку. Он часами мог сидеть с Лидией Самсоновной на веранде и, смотря вдаль на искрящуюся под лучами горячего солнца гладь моря, рассказывать ей о военных походах, о своих братьях, "под которыми земля горела" и которые сложили головы на Кубани во время гражданской войны, и о себе, о заботах одинокого старика. Она

же ему рассказывала о жизни во Франции и о сестре, имеющей ферму в Америке и приглашающей ее к себе. Взаимные симпатии стариков настолько возросли, что они решили вместе совершить морское путешествие, – она к сестре, а он домой в Нью-Йорк, в свою холостяцкую квартиру, которая ему вскоре окажется ненужной, как втайне надеялся он. Эта поездка если еще не принесла, так непременно принесет ему совсем непредвиденное счастье, которое он искал так долго, – домашний очаг и уют после стольких лет одинокого прозябания, дешевых ресторанов и холодных квартир. И в своих мечтах он уже перечислял, какие изменения в связи с переходом в семейное положение придется ему сделать в своем хозяйстве и экономике.

Федор Ильич вздрогнул, ощутив прикосновение чьей-то руки к своему плечу. Перед ним стояла Лидия Самсоновна. Ее миловидное, морщинистое со вздернутым носиком лицо улыбалось.

– Так вот где вы нашли уединение, дорогой. А я вас разыскиваю по всему кораблю, – сказала она.

Лугин, застигнутый врасплох со своими откровенными мыслями, пришел в замешательство.

– Совсем, совсем замечтался, Лидия Самсоновна, – признался он, приглаживая рукой остатки поседевших волос на макушке и поправляя галстук. – Какая красота... это море... лазурь неба и... вот теперь вы... – И, чтобы оправиться от овладевшего им смущения, он перешел на совсем отвлеченную тему:

– Вот там, где-то далеко, находится остров Эльба, – указал он на юг. – Туда был сослан Наполеон; потом он возвратился во Францию. То место в Канн, где он ступил на сушу, считается достопримечательностью города и магнитом для туристов. Интересно, какие мысли и замыслы созревали в уме этого блестящего полководца, когда перед ним предстал так, как сейчас перед нами, чудный вид на берег Франции.

В присутствии своей милой спутницы Лугин чувствовал себя сам чуть ли не Наполеоном, Наполеоном - победителем. Он настолько расхрабрился, что придвинул ближе к ней свою руку на перилах.

У Лидии Самсоновны была привычка дотрагиваться при разговоре к руке собеседника, и, заметив эту привычку, Федор Ильич застывал в ожидании ее прикосновения. А пальчики

у нее были действительно необычайно мягкие, ласкающие, как у кошки, когда та при добром настроении прячет свои коготки куда-то в глубину лапки.

Сейчас Лидия Самсоновна смотрела задумчиво на убегающие из-под парохода волны, прижав свой маленький кулачок к подбородку. Она успела уже переодеться в летнее темно-синее с голубой крапинкой платье. На ее почти седых,аккуратно зачесанных в узел волосах была черная тюлевая дорожная шапочка, завязанная под подбородком.

– Вижу, вы уже успели приодеться, – заметил Федор Ильич ласково.

Они стояли некоторое время молча, занятые своими мыслями, как вдруг Лидия Самсоновна обратилась к нему с неожиданным вопросом:

– А как вам нравится "Лидия"?

Лугову показалось даже, что она кокетливо приосанилась. Это привело его в неописуемый восторг. Первый раз за их знакомство она, всегда такая скромная, обратилась к нему с подобным вопросом, назвав себя просто "Лидией", и его сердце забилось сильнее, как у молодого гимназиста.

– О, Лидия мне очень нравится, – воскликнул он восхищенно. – Я от нее в восторге! Кстати, разрешите мне вам заметить, что синий цвет вам к лицу, а крапинки на платье подчеркивают голубизну ваших глаз.

– Спасибо за комплимент, – поблагодарила Лидия Самсоновна. – А то, что вам нравится "Лидия", это отлично, я ее тоже обожаю. Сколько в ней испанской традиции, грации и умения. Каждый жест в ней – это шедевр искусства. Вот я и для вас припасла входной билет...

У Федора Ильича широко открылись глаза.

– Билет?...

– Ну да, я надеюсь, что вы не оставите даму одну, а будете ее сопровождать...

– Да, конечно. Я вам сейчас же уплачу стоимость билета.

– Позже, позже, – перебила она его и прикоснулась к его руке.

Не то от ее прикосновения, не то от того, что он не понял о чем идет речь, Федор Ильич совершенно опешил. Лидия Самсоновна, заметив это, кратко объяснила:

– Следующий порт – Барселона, где "Лидия" очень популярна. Вот пассажиры и решили воспользоваться случаем посмотреть ее... А вы бы, Федор Ильич, чем-нибудь голову покрыли, солнце еще довольно жаркое.

И она уже убегала прочь, такая славная и удивительно бодрая для своего возраста. А он, смотря ей вслед, тихо повторял:

– Душенька милая, душенька... – В своих потаенных мыслях он разрешал себе называть предмет своего обожания ласкательными словами. При том он, отличаясь особой изобретательностью, открывал все новые и новые словесные формы, не существующие даже в лексиконе, как, например: "ластокрылочка" или "дорогушечка". Он все еще продолжал шептать себе под нос:

– Дорогая моя, милая Лидия, да я с тобой на край света пойду, не только на "Лидию"...

В этот момент Федор Ильич не думал, не гадал, что своим согласием идти на какую-то загадочную "Лидию" он подписывал себе приговор, так как принял бой быков, который в Испании называется "ла лидия", за пользующуюся там успехом известную барселонскую певицу или танцовщицу. Сам же он был человеком мягкосердечным и сердобольным, не только не оправдывающим какого-либо насилия, но даже избегавшим смотреть на телевизоре бокс или борьбу. Четвероногие и птицы были его наилучшими друзьями. Не найдя счастья среди себе подобных, он отошел от людей, замкнулся в себе и свое полное неизрасходованной любви сердце раскрыл для животных. Он никогда не обидел даже паука, а если безвредные насекомые уж слишком размножались, претендуя на его жилище, он "выселял" их, бережно спуская на подоконник за окно. Это он делал только летом.

– И чего это ты с такой дрянью возишься? – удивлялся его сосед, тоже старый холостяк.

– И паучок тоже Божья тварь, и ему Бог жить велел, – убежденно отвечал Федор Ильич. А от собак ему совсем отбоя не было. На улице они постоянно сопровождали его эскортом, и у него всегда находилась для них косточка или корочка.

– Прямо какой-то блаженный, – недовольно говорила о нем его квартирная хозяйка, – только всякую нечисть приваживает.

Но многие были о нем совсем другого мнения.

– Собаки и дети имеют врожденную интуицию, – говорили они. – Они чувствуют в нем хорошего человека.

* * *

Нарядная публика, рассаживаясь по своим местам, копошилась по-муравьиному, переговаривалась и громко смеялась. Только тогда, когда заиграл оркестр, это шумное колеблющееся море людских голов стало утихать и успокаиваться. Начался парад: на усыпанную песком арену с двумя белыми параллельными кругами в центре вышли в своих красочных,расшитых блестящими нитями одеждах матадоры. За ними следовали конные пикадоры и пешие тореадоры, называющиеся "бандерилльерос". Этот своеобразный парад завершали три крупные лошади в попонах.Матадоры, подойдя к президентской ложе, сняли с голов свои черные монтеры; конные же всадники получили от президента ключ от ворот, через которые выпускали быка на арену.

Федор Ильич в своем сером воскресном костюме с интересом наблюдал за этим до сих пор невиданным им шествием, напоминающим времена римского Колизея. Рядом с ним сидела Лидия Самсоновна. Он с удовольствием заметил, что на ней было то же синее с крапинками платье, что и вчера, когда он ей сделал несколько комплиментов, – значит, она старалась ему нравиться. От возбуждения ее глаза блестели; она не отдернула руки, когда он ее взял нежно в свою.

Тем временем парад окончился, арена опустела, даже матадоры ушли за прикрытия возле барьера. Остался только один смельчак. Вдруг раздались звуки трубы, их сопровождал барабанный бой, и на арену грозно вылетел бык-красавец. Он некоторое время метался вокруг, очевидно понимая, что находится под какой-то угрозой, но, лишь привыкнув к яркому свету, заметил человека, который совершенно без оружия, только с раскрытой пелериной в одной руке и с безукоризненной воинственной грацией поджидал его. Бык бросился на врага, но тот, искусно избежав удара, опять потрясал пелериной, вызывая животное на новое нападение. Зрители замерли. "Какой храбрый человек", – поражался Федор Ильич.

– Быков для боя выбирают тщательно, – оживленно объясняла Лидия Самсоновна. – Только бесстрашные и злые считаются пригодными. Им всем по пять лет.

На арене снова появились конные пикадоры. Лошади с завязанными глазами имели на себе толстые матерчатые покрывала.

– Сейчас должны нанести быку глубокую рану, – щебетала Лидия Самсоновна. – Потеря крови обессилит его.

Это ее замечание неприятно резнуло слух Лугина. Он выпустил ее руку и посмотрел на нее с укором.

– Я думал, что бой быков называется корридой, – заметил он, все еще не совсем простив ей своего присутствия на этом зрелище.

– Ла лидия–это вид корриды, доходящий своим искусством и разнообразием до совершенства.

Бык, увидев новых врагов, лошадей, потерял интерес к человеку. Он, рассматривая, стал приближаться к ним, потом, что-то сообразив, попятился назад и, взяв разгон, понесся на коня. Ранив беззащитное животное, стоявшее с завязанными глазами, он прижал его к барьеру. Но пикадор уже успел нанести быку удар пикой между лопаток. Бык от боли остановился, и вскоре стало заметно, что черная шерсть на его спине окрасилась алой кровью.

Симпатии Федора Ильича стали быстро меняться. Ему было жалко и невинно пострадавшую лошадь, и даже быка, которого люди разъярили для своей потехи, чтобы найти потом оправдание его убийству.

– Какое варварство, – возмущенно произнес он вслух.

Лидия Самсоновна, помолодевшая в своем возбуждении на десять лет, вопросительно посмотрела на него. Она ему хотела что-то сказать, но на арене перед быком появился матадор, и она только нетерпеливо махнула рукой.

Время двигалось мучительно медленно. Каждый успех матадора приветствовался с энтузиазмом криками "Олэй!" Неудачи еще больше бесили быка, он гневно рыл копытами песок.

Потом тореадоры бросали в свою жертву цветные "бандериллас", которые не смертельно поражали, а только, вонзаясь в спину, причиняли нестерпимую боль. Бык пытался их стряхнуть с себя, но при этом они еще глубже вонзались в тело. Казалось, что взгляд быка был полон бесконечного страдания и ненависти к своим мучителям. Федор Ильич как-то весь сжался в комочек. Пульс у него учащенно бился, тошнота подступала к горлу. Он хотел встать, но не мог. Чтобы немного успокоиться, он старался не смотреть на арену, а разглядывал рекламы, вывешенные везде на перегородках между

балконами для зрителей. "Кампари", "Кока-Кола", "Мариза",– читал он. А когда Лидия Самсоновна в азарте созерцания боя положила свою руку на его, он не только не взял ее, а осторожно отстранил от себя.

На арене опять матадор ловко уклонялся от атак истекающего кровью быка, то будто пританцовывая и выкрикивая "Хо, хо", то становясь на колено.

– Каждый бык имеет свой нрав, – говорила Лидия Самсоновна, оказавшаяся авторитетом в этом спорте, – он бодает определенное количество раз направо и налево. А если он изменит свою тактику, тогда велика опасность матадору...

И как раз в этот момент бык налетел на матадора и повалил его. Среди зрителей послышались крики негодования. Из-за прикрытий выбежали другие матадоры и начали отвлекать быка от упавшего, который, к счастью, оказался только легко раненым в ногу.

На Федора Ильича внезапно нашло непреодолимое веселье. Он не был рад поражению матадора, но, решив, что это конец варварской борьбы, начал неистово аплодировать. Люди с удивлением и неудовольствием поворачивались к нему. А Лидия Самсоновна нервно прошептала ему на ухо:

– Что вы с ума сошли?... Возьмите себя в руки.

Хотя он и перестал аплодировать, но в руки себя никак взять не мог. В нем все ликовало.

– Все же неплохой конец, – весело заявил он, – я доволен тем, что участники боя отделались только ранениями.

– Это еще не конец, – бык не должен выйти победителем, – строго заявила Лидия Самсоновна. Ее слова повергли Лугина в уныние, как будто на него неожиданно вылили ведро ледяной воды. Действительно, на арене раненый матадор, уже оправившись, опять дразнил быка, и Федор Ильич весь застыл от негодования. Еще долго продолжалась эта неравная игра, все больше натягивая нервы Лугина, как струны. "Бедное животное должно быть в недоумении", – думал он. – "Ведь оно всю жизнь пользовалось услугами человека, который его кормил, поил, чистил..." – И тут Лугин приметил (а может быть ему только показалось), что бык иногда имел возможность боднуть матадора, но что-то его удерживало, и какая-то доля секунды проходила в нерешительности.

Наконец бык уже перестал нападать. Утомленный и раненый, он, казалось, не знал, чего от него хотят, и стоял, поч-

ти не реагируя на красную пелерину. Он тупо смотрел вперед, подняв немного голову, как будто удивляясь, что замышляет против него человек. А человек уже держал в руках предлинный нож, прицеливаясь, куда бы получше направить смертельный удар. Словно жаркий и липкий туман заволок все вокруг Лугина. В его разгоряченном воображении предстали сцены из жизни древнего Рима, передаваемые часто по телевидению, в которых даже обреченному на смерть гладиатору даровалась жизнь за его силу и храбрость. Не помня себя, Федор Ильич поднял свой большой палец кверху и вдруг завопил на все горло:

– Жизнь!... Жизнь!... Пощада!...

Опять повернулись к нему недоумевающие лица, и к его слуху донеслось возмущенное шипение Лидии Самсоновны:

– Вы... вы опозорили меня самым ужасным образом. Я не хочу больше вас знать. Вы... хам, нетактичный дурак.

Ее глаза, полные слез обиды, метали молнии, а лицо побагровело от негодования.

Федор Ильич с усилием поднялся и медленно направился к выходу, не глядя ни на арену, ни на публику, которая в экстазе восторга кричала: "Олэй!... Олэй!..."

Он шел как лунатик. Иногда останавливался и держался рукой за грудь, как бы стараясь успокоить свое сильно бьющееся сердце. Внизу, при самом выходе, он заметил, как там развешивали только что снятую шкуру быка, который еще совсем недавно так храбро защищал свою жизнь.

Лугин вышел на улицу. Несмотря на сентябрь, здесь у Средиземного моря не чувствовалось еще дыхания осени. Деревья зеленели своими здоровыми и полными кронами, а горы за Барселоной, на одну из которых поднимался фуникулер, были покрыты изумрудным ковром трав. Но в многочисленных цветочных киосках, расположенных в аллее, продавались уже осенние астры и хризантемы.

Федор Ильич, погруженный в свои мысли, смешался с веселой говорливой толпой и побрел наугад к пристани, не видя и не слыша ничего.

– Вот тебе и родственная душа, – угрюмо повторял он. – Как видно, не суждено... Ну и Бог с ней – и с этой "Лидией", и с Лидией Самсоновной.

РАССКАЗЫ В СТИХАХ

(Из цикла стихотворений о Гаити)

Посвящаю Борису Нарциссову

ЗОМБИ

В стране колдовских ритуалов
Старинного дикого вуду
На рынках пылятся устало
Фигурки людские повсюду.

Из пальмы, сандала пигмеи
Застыли на вечное время;
Смеяться и плакать не смея,
Живет это черное племя.

На них, как две капли, похожий
Вдруг зомби появится рядом,
Как мощи, – лишь кости да кожа,
С бездумным, невидящим взглядом.

ТАНЕЦ СМЕРТИ

Цитадели каменной громады
На вершине горной вознеслись –
Точно грешник молит о пощаде,
Или нищий просит "Бога ради,"
Руки поднимая к небу ввысь.

Солнце жжет безжалостно в зените;
На площадке марширует рать –
Иностранцам черный повелитель
Острова прекрасного Гаити
Власть свою желает показать.

"Марш!" – Шеренга к пропасти стремится...
Нет ограды – шаг и... первый ряд
Со стены сорвется, чтоб разбиться;
И в жару на черных, страшных лицах
Пот холодный льется у солдат.

"Стой!" – застыли воины у края
С поднятой над пропастью ногой –
Ими, как игрушками, играют;
Дружно гости белые вздыхают,
Дьявольской поражены игрой.

Деспот слышит вздохи облегченья, –
Он еще покажет образец
Полного себе повиновенья...
И опять ползут колонны звенья
К пропасти, где площади конец.

Но на этот раз молчит владыка –
Первые ряды обречены;
И под вопль гостей, с последним криком,
Словно в танце гибельном и диком,
Ринутся солдаты со стены.

КОРОЛЬ

Был слугой, – но, себя в короли возведя,
(Для него – ни закона, ни правил),
Своему он безумью, рабов не щадя,
Дерзкий памятник прочно поставил:

Неприступна на дикой горе цитадель,
Там за каждой бойницей солдаты;
Пушки черным зрачком упираются в цель:
На возможную тень супостата.

Но от выстрелов враг не падет ни один:
Как возмездье судьбы прихотливой,
Лишь погибнет наследник – единственный сын
При случайном, нечаянном взрыве.

Деспот болен серьезно – опасна игра:
И, не веря своим приближенным,
Он стреляется пулею из серебра –
Лучше смерть, но не быть побежденным!

* *
*

Цитадель опустела; минули года.
Солнце щедро румянит твердыню –
Или это краснеет она от стыда,
Как свидетель, оставшись стоять навсегда
Над водой, безмятежной и синей.

ОГЛАВЛЕНИЕ